

919376кх
А 84
П 75



ПРИАМУРЬЕ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
АЛЬМАНАХ

95





A 84 +
175

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АМУРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

ПРИАМУРЬЕ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
№ 1 (19)

95



ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ИСКУССТВО
СТРАНИЦЫ
ПРОШЛОГО

91937618

99

04

09

БЛАГОВЕЩЕНСК

+ 84 (2. Рое - Рус) 6

Приамурье. Литературно-художественный альманах,
№ 1 (19). — Государственное редакционно-издательское
малое предприятие "РИО". Благовещенск, 1995. — 232 с.,
илл.

В альманахе помещены новые произведения амурских прозаиков, поэтов,
журналистов, репродукции работ художников Приамурья.

Общественная редколлегия:

Т. Ф. Бедина, В. Г. Лецик, Б. А. Машук, С. П. Федотов.

Редактор-составитель — Б. А. Машук.



© Амурская организация Союза писателей России, 1995

К ЧИТАТЕЛЮ

*Скоро ль ты,
Сибирь родная,
Сбросишь с плеч своих долой,
Точно Зоя во дни мая,
Гнет рутины вековой?*

*Переживши терпеливо
Дни позора и невзгод,
Полна силы вековые,
Смело двинешься вперед.*

*И страна позора, муки,
Где лишь слышны издавна
То цепей, то стонов звуки,
Будешь славная страна!*

Эти горестно-звучащие строки принадлежат перу Порфирия Федоровича Масюкова, уроженца Забайкалья, который много лет прожил в Благовещенске и умер здесь в 1903 году, в 55-летнем возрасте. Взяты они из сборника поэта-самоучки "Отголоски с берегов Амура и Забайкалья", изданного в Благовещенске в 1894 году — сто один год назад.

Это была первая поэтическая и, как утверждают знающие люди, первая литературная, в полном смысле этого слова, книга, увидевшая свет на нашей благодатной земле. Именно в честь ее векового юбилея прошлый 1994 год, по предложению творческих союзов, был объявлен "годом амурской культуры". А в плане разносторонних мероприятий, посвященных такому событию, значился и пункт об издании литературно-художественного альманаха "Приамурье".

Если уж быть точными, речь шла не просто об издании, а о восстановлении, о возобновлении выпусков альманаха, первый номер которого датирован еще 1951-м годом. Тогда, с небольшими нарушениями периодичности, вышло семь номеров. Готовился восьмой, но...

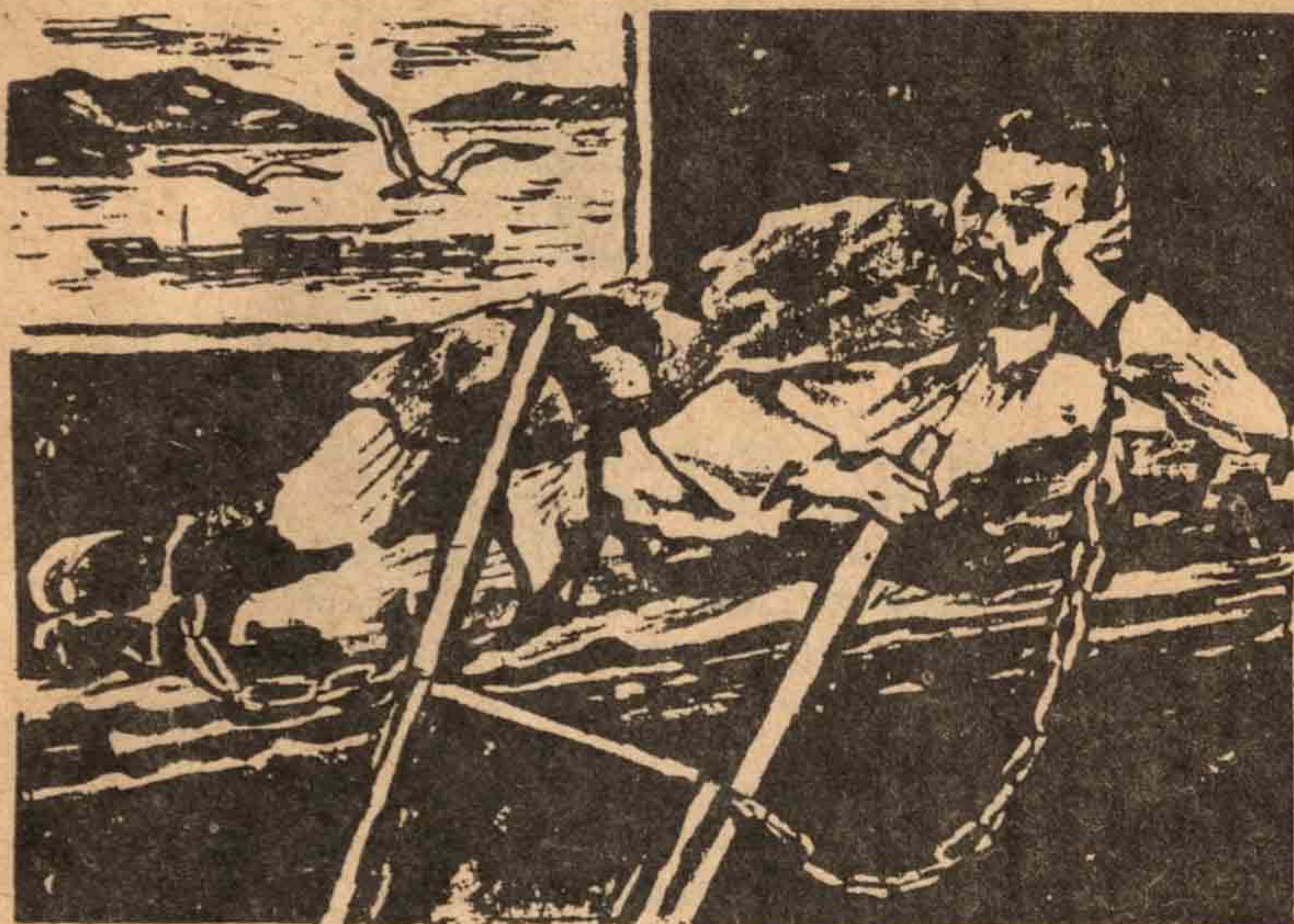
Дурью своих правителей, разнокалиберных властелинов, Русь славилась во все времена. И не мудрено, что начало 1959 года “ознаменовалось” решением Роскомиздата, — разумеется, одобренным идеологами свыше сидящими, — о закрытии альманахов, как таких и как нерентабельных. И только через десять лет, видоизменившись в литературно-художественный сборник “Приамурье мое”, издаваемый Амурским отделением Хабаровского книжного издательства, альманах продолжил свою биографию. Но в последние годы выпуск сборников опять был прерван.

Не обошлось без проблем и на этот раз. В прошлый, юбилейный для амурской культуры год из-за финансовых трудностей удалось выпустить лишь сборник журнального типа, в мягкой обложке. В своем привычном формате, в твердом переплете, альманах выходит лишь сегодня.

По сути получается, что наш альманах рождается в третий раз. Поэтому в скобках, рядом с номером сегодняшнего издания, проставлен настоящий порядковый номер выпуска. (С учетом издания прошлого года). Это справедливо! Это можно назвать продолжением жизни, можно назвать эстафетой — да хоть горшком, как говорится... Главное, чтобы продолжались добрые традиции былого-прошлого. Люди мыслящие, люди творческие не станут возражать против эстафетного движения от первой публикации в альманахе к первой книжке, от первой репродукции к персональной выставке. Пусть рядом с именем одного автора появляются два—три новых, конкурирующих.

Очень, очень нужно, чтобы альманах “Приамурье” был средоточием развития литературного, творческого процесса в области, чтобы замечал новые имена и помогал становлению молодых, начинающих авторов, не допускал забвения творцов старшего поколения, ныне живущих и уже покинувших наш бранный мир, чтобы вместе с этим не забывалась наша история, не глохла наша культура, без которых ничего не значат ни общество, ни экономика государства, ни человек...

Борис МАШУК,
редактор-составитель.



Евгений Замятин

САХАЛИН

*Фрагменты поэмы**

1

Велик и мрачен Сахалин,
Над ним шумят дожди и бури,
И с незапамятных годин
Здесь люди лечатся от дури.
Не признаемся мы подчас,
Но дури очень много в нас.

* Из посмертного наследия поэта.

Ах, наша дурь! Порой она
Мила, по-детски безобидна,
Порой она до слез смешна,
Порой жестока и обидна.
Для чувств известной высоты
Не лишена и красоты.

2

Катилось солнце, как пузырь,
По стороне далекой вятской.
Там жил крестьянин-богатырь,
Молва гласила: “Шибко хватский”.
Был тот крестьянин — барский раб,
Лицом не темен и не ряб.

Семеном мать его звала,
Хозяин-барин — просто Сенькой.
Жена у мужика была
Всех краше в бедной деревеньке.
Бывало, встанет в хоровод
И лебедицей поплывет.

Он никогда жену не бил, —
Дивились все такому чуду.
Но барин бабу принудил
К греху, к безрадостному блуду.
С тех пор Семен стал крепко пить
И барских слуг нещадно бить.

Однажды он быка свалил
На спор за четверть самогону.
Потом соседу дом спалил,
Потом топтал и рвал икону.
В суде устроил ералаш —
И угодил на остров наш.

Он шел в толпе таких, как сам,
Три года через всю державу,
По горьким каторжным слезам,
По диким ядовитым травам,
По мути вод, по тесту глин.
А вот и остров Сахалин.

Когда Семен в острог вступил
И дух его постиг всей кожей
Бродяга весело спросил:
— За дурь попал?
— Что?
— Я, брат, тоже.
Давай знакомиться: Корней!..

Он был в тюрьме известным хватом,
С тузом бубновым на спине,
В халате рваном, полосатом,
Семь раз он с каторги сбегал,
Семь раз его палач стегал.

Свистела плеть над головой,
Над телом изгалялись вицы.
От этих пороков у него
Совсем отпали ягодицы.
Бродяга — всей тюрьмы гроза —
Стал хром, тщедушен и беззад.

Он был общителен, хитер,
Умел подать суду “гумагу”,
Но не смирился до сих пор,
И вновь готовился дать тягу.
Как волка хлебом не корми,
Глядишь — а он уже в Перми.

На прах тряпья, на груды тел,
На вшей, клопов — огня краснее,
Семен без робости глядел
И тем понравился Корнею.
От серой скуки тот ему
Пошел показывать тюрьму.

Был двор ее широк, но глух,
А по нему, тая тревогу,
Бродил ободранный петух
К столбу привязанный за ногу.
— Сопи, товарищ, не сопи,
Здесь даже куры на цепи, —

Сказал Корней и дверь открыл
В казарму, где на нарах жарких
От рыл, как от вороньих крыл,
Чернее было, чем на свалке.
Свет от окна был слаб и кос.
Играли каторжники в штос.

Играли каторжники в штос,
Забыв тревоги и невзгоды,
Кровавый кашель и понос
И даже милую свободу.
В углу, как лунь, суров и бел,
Старик-парашечник сидел.

Он карты под заклад давал,
Дрянные карты из бумаги,
Тряпье и сало продавал
И даже спирт держал в баклаге,
В аду, в остроге коммерсант —
Всегда богат. При нем талант.

Играют каторжники в штос
На хлеб, на сахар, на селедку,
В жару играют и в мороз
Всегда всерьез, всегда в охотку,
Корнею тоже в душу влез
Картежный этот “антирес”.

— Ну что, сыграем, дорогой?
Бери с Артюхина примеры:
Пришел сюда полунагой,
А стал почти миллионером.
Семен махнул рукой: “Ну что ж!”, —
И вынул свой заветный грош.

Тот грошик мать ему дала,
Чтоб Семе вышло снисхожденье,
Она корову продала
И в суд явилась с подношеньем.
Судья корову проглотил,
Но Сеньку все же засудил.

Играют каторжники в штос
В азарте, в ярости, в любви
До нервных судорог, до слез,
До поножовщины, до крови.
И то и дело слышат уши:
— Плати, приятель, транспорт скушан*.

Играют каторжники в штос,
Все ночи напролет играют.
И вот уж Сенька гол и бос —
Штаны последние снимает.
А утром, каясь и ворча,
Под плеть ложится палача.

Тюрьма, на белый день сердясь,
От сна лениво оживала,
Клопов давила, матерясь,
И щи соленые хлебала,
В которых плавала, как злость,
На десять чашек рыбья кость.

Ах, рыба, рыба! Как она
Всем каторжанам надоела.
Вот если б мяса допьяна,
Да каждый день, — тогда бы дело!
А то — горбуша да треска.
Тошнит от этого куска.

Позвали Сеньку на развод.
Картежник, пакостник, ругатель,
Тяжелый выпятив живот,
Ходил по кругу надзиратель.
Он бил, в кандальную сажал
И на работу наряжал.

Дорогу строить. Пруд копать,
Под землю лезть на радость бесу.
Кряжи еловые таскать
На пост за восемь верст из лесу.
Семен с рожденья крепок был —
И сразу в шахту угодил.

* Картежный жаргон

Вот он, здоровый дуралей,
Не пряча силушку в заначку,
Как исполинский муравей,
Волочит санки на карачках.
В глазах темно, на роже грязь,
От лямки кожа порвалась.

Он быстро выполнил урок,
Сел отдохнуть. Не тут-то было.
Корней его толкает в бок:
— Эх, мочи нет, помог бы, милый!
Я посижу и отдышусь.
А вечерком тебе сгожусь.

Семен душой не очерствел.
Бродягу старого жалея,
Опять изрядно попотел,
Но выполнил урок Корнея.
Шабаш. Проверка. А потом
Корней его повел в притон.

Боимся мы: “Острог, острог!..”
А были там простые нравы.
Был надзиратель — царь и бог,
Который как хотел, так правил.
Ему подаришь золотой —
И он почти приятель твой:

“Гуляй где хочешь, мы не злы,
Но на поверку — будь любезен,
Иначе — плеть и в кандалы...”
А что за радость быть в железе?
Вот почему острожный люд
Дисциплинирован, хоть лют.

Корней — он в картах не дурак
И, быв вчера в большом ударе,
Он обобрал седьмой барак
С Артюхиным Андрюхой в паре.
И надзиратель посему
Был нынче милостлив к нему.

В ту пору остров Сахалин
Приказом свыше заселялся.
С рязанских пней, с тверских глубин
Сюда народ шальной съезжался,
Прельщен богатством стороны
И “щедрой” помощью казны.

Но скоро замыслы царя
Бессильно в воздухе повисли.
И с острова, как из ларя,
В котором мыши дно прогрызли,
Народ потек, устал и хил:
Ведь остров хлеба не родил.

А так как надо было есть
Не только мох и кору елок,
То потому осталось здесь
Совсем не много новоселов.
Их в неоплаченных долгах
Тюрьма держала как в тисках.

Теперь представь, читатель мой,
Избу казарменного типа.
В углу сидит старик седой
И дым выкашливает с хрипом.
Он болен, зол. Его жена
Сегодня вдребезги пьяна.

Семь мужиков, гоняя мух,
Играют в штос со всем серьезом.
И пять сожительниц-старух
Лежат на нарах в разных позах.
— Здесь каждая за медный грош
Тебя довольствует, как хошь! —

Сказал Корней, на нары сев
И помянув с ухмылкой бога.
Семен глядел на этот хлев,
Не отрываясь от порога.
Но вот уж старая карча
На нем повисла, хохоча.

От ведьмы шел тяжелый дух,
Как от квашни с прокисшим тестом.
Корней был истинный питух.
Он из бутылки пробку с треском
Умело выбил и “на ять”
Стаканы начал наполнять.

Старухи с жадностью волчиц
Посуду грязную хватали
И на тряпье бросались ниц,
И непристойно хохотали.
Меж тощих бедер и грудей
Сидел Корней-прелюбодей.

Пришел китаец-спиртонос.
Гульба все жарче разгоралась.
А мужики играли в штос,
Как будто их и не касалось,
Что баб, — сожительниц, — все злей
На нарах тискает Корней.

Пять раз пустела ендова,
А все гулякам было мало.
Хромая Машка без родства
Меж тем к Семену приставала:
— Милок, я всех моложе здесь.
Ей было только сорок шесть.

Тряся косматой головой,
Она у ног его скулила.
Пока Семена моего
От ласк ее не затошнило.
Он вырвался из грязных рук
И, сбив башкой железный крюк,

За двери выскочил стремгав.
С залива ветерок струился.
Реки извилистый рукав
Под звездным светом серебрился.
И потихоньку наш Семен
Забыл вертеп, как страшный сон.

...Он вспомнил родины своей
Простор хмельной, простор чудесный,
Где над рекою соловей
Свои наяривает песни,
Где конь не любит удила,
Где ширь полей светлым-светла.

Там пахнет мятой луговой
И росной свежестью сирени.
Там под березкой молодой,
Когда уже сгущались тени,
Он Настю Фокину обнял
И первый раз поцеловал.

Светло в избушке лубяной,
Здесь все покой и счастье славит.
И Настя в кофточке цветной
На стол еду простую ставит.
Уже полгода как она —
Ему законная жена.

А вот они, стерней шурша,
Идут с покоса за возами.
...И, чтоб очистилась душа,
Он плакал долгими слезами.
Притон ему глаза открыл.
Он понял Настю и простил.

Не по своей вине жена
На барской кухне чай варила.
Не по своей вине она
В дурные руки угодила.
А ты ее не понимал,
Хоть дома сам с петли снимал.

Хорош и плох характер наш,
В разврат впадаем, Бога рушим,
Судьбу берем на абордаж
И пропиваем даже душу,
Но родину, любовь и дом,
Мы никогда не предаем.

Суров Великий океан,
 Он остров бурями тревожит.
 И только смелый капитан
 К нему пристать на судне может
 Да любопытный зверь лахтак,
 Да в утлой лодочке гиляк.

Когда к угрюмым берегам
 Весна тепло свое приносит,
 Медвежий рев и птичий гам
 Приветствует полки лососей.
 Кипит прибрежная черта,
 Идут горбуша и кета.

По речкам среди диких скал
 Плывут они, теряя силу,
 За тучей — туча, валом — вал,
 Чтоб отыскать себе могилу,
 Потомство новое зачать
 И миф о страхе развенчать.

И в эти солнечные дни
 Весь сахалинский край жирует.
 Горят гиляцкие огни,
 При свете их кету свежуют.
 Холодной речки посередь
 Ест рыбы головы медведь.

Вороны, лисы, червяки
 Дары природы пиром славят.
 Переселенцы-мужики
 И каторжане сети ставят,
 Чтоб красной рыбы насолить
 И целый год себя кормить.

У рыбы бурые бока,
 Она наряд надела брачный
 И кровью руки рыбака
 Она окрасила кумачной.
 Среди работников — Семен.
 При кандалах сегодня он.

Да было, было! Он бежал
На материк с Корнеем-лешим,
Который вовсе диким стал
И уж полгода, как повешен.
Помянем старца: вором был,
Но крепко волюшку любил.

Они отправились в бега
В глухую ночь, когда стонала
Над сонным островом пурга
И все живое заметала.
Когда в долинах и горах
Все звери прятались в норах.

Семь суток шли по целине
И, обморозив руки, ноги,
В каком-то страшном полусне
Медведя подняли в берлоги.
Желудки кровью обожгли,
В тепле берлоги отошли.

Корней был хил, но не стонал,
В него как будто бес вселился.
Он песни пел и хохотал
И как ребенок веселился.
— Эй, Сенька, где ты, немота?
Гляди, какая красота!

С высоких гор, с крутых вершин
Прозрачный свет на землю лился,
И мрачный остров Сахалин
На их глазах преобразился:
Жандарм, тюремщик и садист
Был первоначально бел и чист.

На склонах сопок лес синел,
Никем не рубленный от века,
И соболь с дерева глядел,
Не опасаясь человека.
Под вечер вышли на бега
Олень, беляк и кабарга.

Летел стремительный олень,
Едва царапнув снег ногами...
Скажи ему: звезду задень, —
И он пронзит ее рогами.
Смышлен, глазища враскоряк,
Веселым скоком шел беляк.

Глядела дикая тайга,
Как прямо в алость заряницы
Легко бросала кабарга
Свои стеклянные копытца.
На ветках застывала сочь,
На землю опускалась ночь.

А наши каторжники шли
В обутках рваных по сугробам.
Их брови снегом обросли,
А души потом и ознобом.
Ах, если б хоть всего на день
Им ноги одолжил олень!

В глухом распадке между скал
Корней по лаю псов голодных
Торыф* гиляцкий разыскал
И после дум, увы, бесплодных,
Уму и сердцу вопреки
Взял гиляка в проводники.

Наевшись юколы, пошли
Опять сквозь снег и непогоду.
Звездой полей мерцал вдали
Желанный свет святой свободы.
Но предприимчивый гиляк
В засаду заманил бродяг.

Дрались отчаянно в ночи.
Солдатам кулаки навстречу
Семен бросал, как кирпичи,
Ломая лбы, носы увеча.
Корней зубами рвал со зла.
Но — сила силу разнесла.

* Торыф — зимнее жилище.

Нет, я бродяг не повиню
За бегство с острова, чье имя,
Подобно морю и огню,
Страшило бедами своими.
Сто лет назад с угрюмых скал
Я сам бы первый убежал.

4

Весна над островом, весна,
На мелях нерестятся крабы.
И в небе белая луна
Кругла, как щеки вятской бабы,
И каторжанину домой
Так хочется, хоть волком вой.

И он завыл запойно, вдрызг,
По-бабьи зло, по-волчьи дико.
Он кандалы зубами грыз,
Он исходил тоской и криком.
Глядел на Сеньку Васька Жмот
И издевался: "Во, дает!"

Семену все не по нутру:
Дожди, туманы, жизнь-паскуда.
— Я все равно вам нос утру
И убегу опять отсюда,
— Он грозным стражам говорил
И кандалы тайком пилил.

Но хохотал в ответ жандарм:
— Лапшу мне на уши не вешай!
Я сам тебе червонец дам,
Коль убежишь, дружок сердешный.
Куда уйдешь?
Кругом вода.
Отсель дорога лишь туда, —

И он на небо показал.
А в небе, в низком синем небе
Клубилась тучка, как слеза,
О вольной волюшке, о хлебе,

919376154

О вятской стороне родной,
О старой матери больной.

Куда ни глянь — морская соль,
Над нею реет чаечонок.
И донимала Сеньку боль
И прожигала до печенок.
Ах, эта соль, ах, эта боль!
Доколь терпеть ее, доколь!

За то, что дик и злобен стал,
Семен уже прикован к тачке.
...Однажды в грязь и вонь поста
Пришла красавица-гилячка,
Светла, как тымские снега,
Легка, как в поле кабарга.

Меха, лимонник, купину
Она солдатам продавала.
Семен на девушку взглянул —
И что-то в сердце задрожало.
Но девушку, могуч, усат,
Уже тащил в сарай солдат.

Она кричала и рвалась,
Как в поле раненая птица,
Когда силка тугая вязь
Ее настигнет под зарницей.
Померк в глазах Семена день.
Он перелез через плетень

И на солдата налетел,
Гремя цепями, тяжелой тачкой.
Солдат был пакостлив, но смел.
И вот уж, оттолкнув гилячку,
Он штык схватил.
И наш Семен
К стене еловой пригвожден.

Увы, не дрогнула рука,
Ее ничто не удержало,
И кровь стекала со штыка,
Как сок брусники ярко-алой.

Как топором сраженный клен,
Упал, не охнувши, Семен.

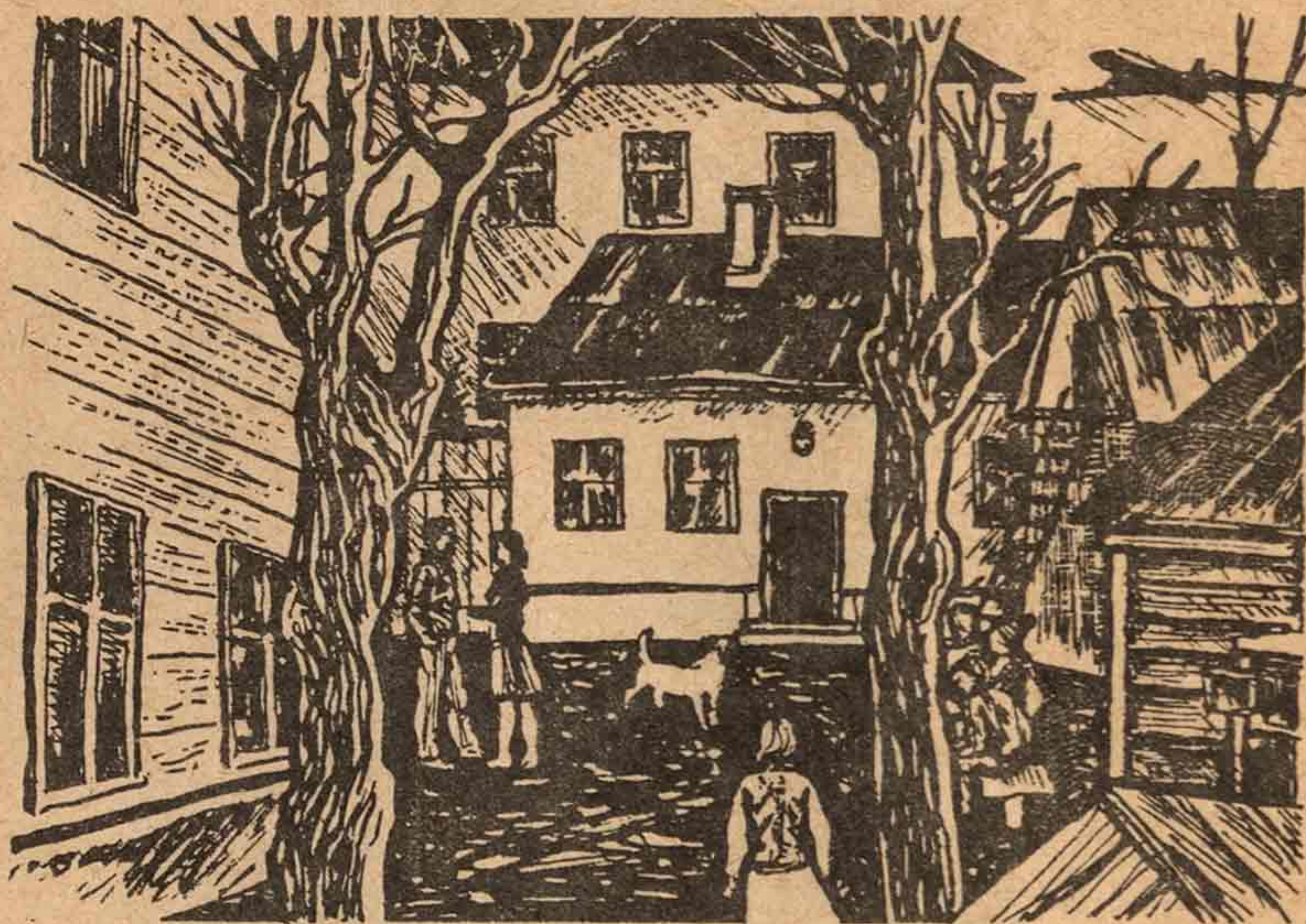
Не рухнул дождь, не грянул гром.
Над лесом пеночка кружилась,
И жизнь кипела за окном,
В ней ничего не изменилось.
Гремели кандалы. В пыли
С работы каторжники шли.

В тюрьме горнист отбой сыграл.
Колодник старый, сив и хмурен,
Крестясь, товарищу сказал:
— Семен на штык нарвался с дури.
Помянем парня, мрачен был,
Знать, крепко волюшку любил!

5

Спроси, зачем я рассказал
Историю с концом не новым?
К тому, что горя повидал
В достатке Сахалин суровый,
И слез, и крови человеческой,
И душ крылатых, и увечных.

К тому, что мы в мирке без бурь
От предрассудков не свободны
И очень часто словом “дурь”
Клеймим поступок благородный,
А настоящих дураков
Возносим выше облаков.



Галина Беляничева

ПОСЕЛОК АЭРОПОРТ

Книга рассказов

ЧТО РАСТЕТ НА КРОВИ

Рано утром поливальная машина прыснула в кровяную лужу водой. Дворник дядя Валера, тощий, согнутый полумесяцем старик в синем просторном комбинезоне и жестком берете, растер пятно метлой, посыпал порошком, снова растер. Возвратившаяся со двора машина еще раз окатила запачканное место струей и уехала к аэро-

вокзалу освежать там после ночи площадь. А пятно, как только со-
гнали с него белую шубу пены, вновь затемнело на мокром асфаль-
те. Дядя Валера постоял, подумал и с новыми усилиями взялся за
него: сыпал песком, драил метлой, потел и усердствовал, а с пятном
ничего не делалось. Все так же темнело на асфальте несмываемым
знаком беды.

За стараниями дворника наблюдали двое мальчишек лет десяти
— Сережа Муха и Олежка Дозор. Вчера вечером, когда за окном
стреляли, матери их из квартир не выпустили. Поэтому ранним ут-
ром они поторопились выскочить из дому. Но утро — не вечер, и
увидеть им удалось только, как смывают кровь.

— Зачем, деда, ты трешь? — подступился Муха.

— Кровь человеческая тут зря пролита, — проворчал старик.

— А что — нельзя, чтоб от нее след остался? — спросил Муха.

— Нельзя, — ответил дворник. — Живую кровь к земле тянет, а
здесь асфальт.

Муха присел на корточки возле пятна.

— А тут трещины есть! — углядел он.

— Тем более нельзя, — сказал дворник.

— А почему кровь к земле тянет? — заинтересовался Олежка
Дозор.

— Потому что земля жизнь дает. — Дядя Валера оперся на мет-
лу и распрямил, отдыхая, тощее тело.

Олежка подумал — и недоверчиво хмыкнул:

— И что — если б эта кровь в землю ушла, то из нее бы новый
Серега вышел?

— Нет бы, не вышел, — не обратил внимание на насмешку двор-
ник. — В том виде, в каком ушла, жизнь уже не вертается.

— А в каком вертается? — спросил Муха.

— Тут еще надо знать, какой человек был, — принялся рассуж-
дать старик. — Если добрый, значит доброе вырастет: цветок там
или дерево. А если злой, то дрянь какая-нибудь полезет.

— Серега-то добрый! — заметил Муха.

— Вот и надо тереть, чтоб зря ему не мучилось, — сказал двор-
ник и принялся за метлу.

В этот момент над ними что-то всплеснуло и захлопало. Старик
и мальчишки подняли головы. В просвете между двумя домами по-
селка, над тем местом, где вчера ранили Серегу Ройко, а сегодня
смывали его кровь, колыхалась голубиная стая.

— Его голуби, — определил Муха.

— Не, не его, — возразил Дозор. — Серегины должны быть за-
перты. Кому их выпустить?

— Серегины голуби. Я их знаю, — настаивал Муха.

— Живая, должно быть, кровь у парнишки, хозяина ихнего, — произнес дядя Валера, глядя на голубей из-под козырька ладони.

— Значит, живой Серега? — обрадовался Муха.

— Может и живой, — вздохнул дворник. — Я то хотел сказать, что кровь у него сильная, смерти не очень-то поддается. Дай бог ему выжить и без увечья остаться. Молодой больно, жизни от себя еще не пустил.

— А мент этот, Щербинин, у нас в тире всегда точно целит, — сообщил Дозор.

— Ишь, стервец, — выругался дворник, — с мишеней на людей переключился.

— Ты, дед, вчера видел Серегу? — спросил Муха.

— Видел. Он тут лежит, а через куртку кровь так и полощет.

— И мента видел? — поинтересовался Дозор.

— Этот все кричал: “У меня отец прокурор! У меня отец прокурор!”. Щенок! Лучше б кричал, как ему с грехом теперь жить?

— За что, дед, он стрельнул в Серегу? — спросили оба мальчика.

— Я так думаю, из-за спеси. Дубинку дали, пистолет дали — иди геройствуй! Парнишка, видишь ли, не пожелал, чтоб его палкой без причины стегали. Тогда этот щенок показал власть. Все они так, начальники, милиционеры, бандиты...

— Всех в кучу сгреб, кого надо и не надо! — слышалось вдруг с углового балкона на втором этаже. Тетя Соня Пацюра, низенькая плотная старуха, встряла в их разговор и словно чернилами в ясное утро плеснула. Голуби испуганно улетели. Дядя Валера воинственно подперся метлою. Мальчики насупленно уставились на бабушку.

— Ты меня не одергивай, — задиристо выговорил дворник. — У меня работа такая — все в кучу мести. А смешал я их потому, что им всем от нас одного надо, чтоб помалкивали и боялись.

— Правильно, чтобы боялись! — тоном, не ведающим сомнения, подхватила тетя Соня. — А то молодые больно распоясались, никого не боятся! Одного вот утихомирили, еще парочку тут положить — сразу порядок будет. Торчат на углу по полночи — покою от них нету!

От таких слов дядя Валера осиновым листом задрожал.

— Раз ты так... раз ты так говоришь, то ни тебе, ни мне, ни всем нам в свое время не надо было любить, сходиться и детей заводить! Ради покоя от них отрекаемся!

— Не все ж дети такие, — поджала губы бабушка Пацюра.

— Твои не такие? — ехидно сказал дядя Валера.

— Не такие. Мои семейные, угомоненные. Внуки тоже дома сидят, уроки учат.

— Гордись, гордись, да только помни, что пуля — дура, ей все равно в кого попадать.

— Тьфу на тебя! Чего несешь? — открестилась Пацюриха.

— А ты не несешь? Чужого птенца тебе не жаль, а за своих вон как подымаешься.

— Кто ты такой, чтоб агитировать тут? Раскаркался! Слушать тебя не желаю, помелю старое! — И тетя Соня с видом непоколебленного превосходства убралась с балкона.

— Не пронял я ее, ребятки, не пронял, — подосадовал дядя Валера. — Ишь какая! Чужих детей, значит, есть за что обижать, а своих не за что.

Старик поглядел на пятно и раздумал его стирать.

— Да пусть оно остается, людей на размышление наводит!

— Дед, а дед, — вновь прицепился Муха. — Может, она протекла до земли? Всю ночь ведь сочилась.

— Может и протекла, — хмуро сказал дядя Валера. — Да разве ж тут какой росток пробьется?.. Вон корка какая... Проковырять бы — так добро-то казенное, кто ж даст портить?

Он подхватил свой дворницкий инвентарь и поплелся во двор.

Несколькими часами позже в аллейке, ведущей к вокзалу, мальчишки засекли того самого милиционера, который стрелял в Серегу. Они узнали его со спины по долговязой фигуре, скорому шагу, с радостным прискоком, и с недоумением поглядели друг на друга: как можно без зазрения совести ходить, да еще прискакивать, когда ты перед этим уложил человека? Не веря своим глазам, они припустили за уходящим, догнали и пошли рядом, заглядывая в ясное, молодое, не ведающее сомнений лицо.

— Ну и на что смотрим? — невозмутимо отреагировал милиционер.

— А на то, что ты живой и невредимый, а от Сереги даже кровавое пятно смывают! — выпалил Муха.

— Правильно делают, что смывают, от хулигана следа не должно остаться!

— Кто хулиган-то! — взвился Муха. — Кто стреляет — или кто никого не трогает?

Олежка Дозор горячиться не стал, а хладнокровно припечатал:

— Тебя не забрали, потому что ты сам милиция!

Милиционер по имени Олег Щербинин, не принимая во внимание вопли Мухи, навел на своего тезку взгляд темных, как вороненая сталь, глаз:

— Меня не забрали потому, что я действовал по уставу.

— Раз по уставу, — снова взвился Муха, — то ничего тебе и не

будет, да? А вот будет тебе, будет! На Серегиной крови что-нибудь доброе вырастет. А на твоей, если прольется, только дрянь взойдет!

— Хотел бы я поглядеть! — хмыкнул милиционер, и черные усики его встопорщились. Не обращая больше на мальчишек внимания, он прибавил шагу, оставив их в аллейке одних.

Вернувшись к домам, ребята подошли взглянуть на пятно. Муха потыкал в трещины пальцем, проверяя, сквозные они или нет. Дозор без воодушевления смотрел на жесткий асфальт. Он понимал, что никакая жизнь отсюда не выйдет.

С трассы сошли возвратившиеся из города родители Сереги Ройко и понуро стали над пятном. Муха аж голову в плечи вобрал, чтобы чем-нибудь их не смутить. Дозор же спросил:

— Как Серега?

— В больнице, — сказал Серегин отец.

— Живой? — любопытствовал Дозор.

— Живой, — скупно бросил Серегин отец, боясь испугать судьбу.

От этих слов Муха подскочил и в радости затараторил:

— А сюда голуби прилетали, Серегу искали. А дядя Валера сказал, что у Сереги живая кровь, и там, где она пролилась, дерево вырастет.

Родители Сереги тупо смотрели на пятно. Плечи у отца вдруг затряслись, и мать торопливо увела его подальше от людских глаз.

— Что ты всем обещаешь: вырастет, вырастет! — упрекнул приятеля Олежка Дозор. — Дворнику поверил? Много он знает!

— А ты знаешь?

— Знаю! Не будет, как ты хочешь!

— А как будет?

— А так и будет. Ты что — не видишь? Кто стрелял, тот гуляет и наплевал на всех. Кто пострадал, тот плачет. Как есть, так и будет.

— Как есть, так не надо, — тихо сказал Муха.

Сережа Муха надоел отцу приставанием — взломать на въезде в поселок кусочек асфальта, чтобы дать рост какому-то дереву. Отец сначала отмахивался, а когда сын допек, попытался внушить:

— Асфальт не наш, он казенный. Нельзя его трогать.

— А убивать на нем можно? — спросил сын.

Отец оторопело замолчал. Посмотрел на сына, но ничего больше не сказал ему. Так же молча принес из сарая лом и обколот им пятно на углу у крайнего дома. Был ранний, еще солнечный вечер. Многие жители поселка прохаживались по двору, но никто не поинтересовался у старшего Мухи, что это он делает и зачем. Раз делает, значит надо. Так же, наверно, думали они и тогда, когда на этом

же самом месте один парнишка, которому выдали оружие, стрелнул в другого, у которого оружия не было...

Выбросив осколки асфальта в траву, Мухин отец в сердцах сказал сыну:

— Сделал как ты хотел. Жди теперь дерева.

Утром дядя Валера озадаченно оглядел дыру на асфальте, поскреб затылок и побрел в тополиную посадку. Там он отсек от корня короткий побег, принес из цветника черной землицы, расчистил и углубил дыру, после чего воткнул в нее тоненький стебелек. Посадку дворник присыпал шлаком, оставив снаружи кончик зеленой макушки, будто она еще только пробивается из освобожденных недр. Муха эту макушку углядел в тот же день и переполошенный прибежал к дяде Валере, упрашивая его огородить дерево. Дворник повел мальчика в запасники ЖКО, откуда они извлекли заградительные щиты со знаком "земляные работы", обнесли ими ямку, после чего Муха принялся ухаживать за ростком. День за днем деревце глядело на свет зеленым кончиком, не прибавляло в росте, но и не жухло. Население поселка помалкивало, как всегда полагая, видимо, что так и надо, машины объезжали знак, аэропортовское начальство делало вид, что ему ничего неизвестно.

... Из больницы вернулся Серега Ройко. Прихрамывая, он подошел к ограждению, постоял недолго, глядя на тополиный росток, и торопливо поковылял прочь, словно стесняясь или боясь чего-то.

Милиционера Олега Щербинина, который стрелял в Серегу Ройко, сослуживцы недолюбливали — то ли за его заносчивый характер, то ли за папу-прокурора. После злополучного выстрела отношение их к нему стало еще прохладнее. Но, похоже, его самого это мало волновало. В друзья он никогда ни к кому не набивался.

В жаркий послеобеденный час старшина Щербинин отдыхал в одиночестве на скамье в тенистой аллейке у аэровокзала. Отсюда ему хорошо была видна привокзальная площадь, запруженная легковым транспортом и пестрой толпой пассажиров. Вот меткий глаз старшины засек маленькую фигурку Олежки Дозора, который, пообедав в буфете у матери, торопливо пробирался через площадь. Когда он забежал в аллейку, старшина повелительно окликнул его:

— Эй, тезка, поди-ка сюда!

Олежка тормознул, увидел милиционера, сразу насупился. Подошел с неохотой.

— Так кто же посадил дерево? — спросил милиционер, глядя на мальчика в упор. Под его сверлящим взглядом Олежке Дозору стало не по себе, он огляделся по сторонам, не видно ли знакомых. Но тенистая аллейка была пуста. Он опустил голову и буркнул:

— Какое дерево?

— Знаешь какое.

— Никто не сажал, оно само выросло, — промямлил Олежка.

— Ты сказки не рассказывай. Говори, кто. Муха посадил?

— Не-е. Он сам удивлялся.

— Дворник?

— Не-е. Ему самому Муха сказал.

— Значит, само?

Олежка тоскливо вздохнул.

— Ты подумай, — сказал милиционер. — Если бы от пролитой крови вырастали деревья, вся земля была бы в дремучих лесах. А она, между прочим, голая. Растет то, что люди посадили. Гляди, возле аэропорта — посажено, у ваших домов — посажено, по дороге в город — тоже посажено. А ваше дерево откуда взялось?

Олежка, увиливая от сверлящего взгляда милиционера, перевел глаза на молодую сосенку.

— Так что — от крови ничего не вырастает? — пробормотал он.

— Сам знаешь, что не вырастает.

— Тогда что же — ее можно лить и лить? — он посмотрел на милиционера и снова отвел глаза.

— Дерево-то чем тут поможет? — усмехнулся тот.

— Оно будет расти.

— Не будет оно расти, — сказал Олег Щербинин. — Этот поганый росток на проезжую часть вылезает. Любая машина его собьет. Тот же дворник выдернет, если начальство прикажет, а оно прикажет, чтобы с милицией неприятностей не иметь.

— Оно на проезжую часть не вылазит, оно с краю, — упрямо бубнил Олежка. — Все знают, почему оно там растет.

— Сегодня знают — завтра забудут. Подумаешь, шпанца подранили. По этому поводу что — памятники ставить? Говорю еще раз — его выдернут!

— А что сделают голубям? — насупленно спросил Олежка.

— Каким голубям?

— Которые на Серегину кровь притянулись.

— При чем здесь голуби?

— Они тоже чуют. И помнят.

Олегу Щербинину надоело воевать с ребячьими фантазиями, он стукнул себя по колену, как бы прихлопнув все их разом.

— Ты, тезка, темный совсем. Дай-ка я тебя трем правилам научу. Правило первое: ни одна животина, даже самая умная, в делах человека голоса не имеет. Правило второе: ни одна женщина, даже самая лучшая, в делах мужчины голоса не имеет. И третье правило, самое для тебя важное: ни один шпанец, даже самый пряткий, в де-

ла милиции нос не сует, иначе без носа останется. Усвой — и друзьям скажи, а то, смотрю, много болтают.

— У нас плюрализм, — огрызнулся Дозор, приплета к месту слышанное много раз по телевизору слово.

— Плюрализм-то плюрализм, а оружие одной милиции разрешают носить! — наставительно сказал старшина и победно расслабился, раскинув руки по спинке скамьи.

Олежка замолчал. Последний довод ему крыть было нечем. А Щербинин уже мягче посмотрел на него.

— Ты, я видел, в тир ходишь, а стреляешь-то неважно. Хочешь, научу?

Олежка вскинул голову и настороженно спросил:

— А где учить будешь?

— В тире, конечно.

— В наш тир я с тобой не пойду.

— А если в городской?

— В городской-то?.. — Олежка поколебался. — В городской можно.

— Договорились! — кивнул старшина. — Съездим как-нибудь после дежурства. А сейчас беги домой.

И Олежка Дозор побежал. Не так резво и беззаботно, как еще недавно, а с какой-то затаенностью в лице. Он думал: похвалиться ли Мухе, что его скоро стрельбе учить будут, или лучше удержаться?.. Проскакивая мимо загородки, он не повернул к ней головы, как обычно делал. Деревце вдруг утратило для него прежний смысл. К тому же его все равно выдернут.

Олег Щербинин окучивал картошку на садовом участке и порезал тяпкой ногу. Мать промыла рану и хотела залить ее йодом.

— Погоди, — Олег отвел ногу и свесил ее с крыльца дачного домика над тучной полоской цветника. — Говорят, на моей крови дрянь взойдет. Хотел бы я поглядеть, как это бывает.

— Сыночек! — ахнула мать. — Зачем же ты такое... — но тут же осеклась, закусив сжатый кулачок, молча глядя на сына сквозь хлынувшие слезы.

С огорода подошел и сел на крыльцо отец.

— Не шутил бы ты с этим, — посоветовал он. — Кровь — вещь непонятная, лучше ее не проливать, ни свою, ни чужую.

— Почему же, пап? Вся история на крови замешана, какой век ни возьми. Некоторые вопросы только кровью и решаются.

— Ну... если решать их с позиции силы.

— А как их еще решать?

У Щербинина-старшего челюсть отвисла. Слов он не нашел. Он

подумал: вот, защищаешь легкомыслие, молодую горячность, а потом выходит, что защищал умысел, и при том недобрый...

— Дерево посадили, — брезгливо фыркнул сын, глядя, как редкие кровавые капли падают в жирную землю цветника. — Хотят этим что-то доказать... Заеду как-нибудь ночью и вытопчу. Или пацана заставлю, пусть постарается — зря я его, что ли, в тир поведу?

— Что тебе дерево, растет и растет, — сказал отец.

— А на фига мне это нужно? Если оно подрастет — его же в поселке легендой сделают. Детям начнут показывать.

— А ты такой славы не хочешь? — поддел отец.

— Если и следить в истории, так уж по-крупному.

Старший Щербинин тяжело вздохнул.

— Знать бы, сын, что ты еще в своей жизни сотворишь... — помолчав, сипло проговорил: — Может, зря я...

И опять замолк, не досказав, но сын понял.

— Разве ты в этом деле за одного меня вступаешься?

— То-то и оно. За тебя — а значит, и за себя. А кто снимет с моей души это... этот груз?

Старший Щербинин поднялся и медленно пошел к грядкам.

— Ладно, мам, заливай, — скомандовал Олег, ставя на ступеньку ногу. — Чего тут ждать?.. Мы-то всходы не своего посева. Любопытно взглянуть, что из наших семян вырастет.

Отец на ходу обернулся, чтобы тут же ответить, но передумал и даже рот потуже сомкнул: произнесенное да не сбудется.

СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ МНЕ НЕТ...

С некоторых пор летними вечерами, когда уплотняется тьма и жители поселка перед отходом ко сну открывают для проветривания квартир балконные двери и окна, с одного из балконов, обращенного к автотрассе, начинает звучать песня. Приятный, но слегка разъезжающийся от нетрезвости хозяина голос выводит: “Позабыт-позаброшен с молодых юных лет, я остался сиротою, счастья в жизни мне нет...”

Иногда отдаленно, вероятно из глубины квартиры, послышится:

— Чего ж ты одно и то же голосишь? Разве других песен нет?

— А это любимая... Я в ней страдаю, — небрежным тоном отзовется певец и затягивает по новой.

Всей песни он или не знает, или не хватает духу пробиться через заложенные в ней страсти, поэтому поет отрывками и недолго.

Ночного “соловушку” в поселке мало кто знает. Не так давно

его впустила в свою жизнь и квартиру роскошная, но переспелая местная жительница Лидия. Посторонним казалось, что, кроме имени Анатолий и расстроенного баритончика, за мужичонкою ничего нет. Но, видно, что-то было, потому как Лидия крепко за него ухватилась.

Взят мужичонка с Бычника, маленького поселочка, построенного госплемпредприятием, теперь уже бывшим. В его помещениях за высокой стенкой держат сейчас не бычков, а кур, но старое прозвище Бычник сохранилось.

На новом месте — в аэропортовском городке — Анатолий заскучал. Хотя между аэропортом и Бычником и расстояние всего-то полтора километра, а все равно это как из районного центра в областной переехать: совсем иная жизнь. По мнению Анатолия — слишком пресная и благопристойная. Где пьют, где гуляют — не видно и не слышно. Не то, что на Бычнике. Там три панельных многоквартирных дома поставлены так, что в чужую жизнь и не хочешь, а заглянешь. Там никто ни от кого ничего не скрывает. Пьют и гуляют у всех на виду, а иногда и все вместе. Вокруг домов телята бродят, молоком пахнет, сеном. До чего же, мать ядрена, человеку там вольно! Потому-то Анатолий иногда, не выдерживая пресно-пристойной жизни, сбегает на Бычник. Отвести душу. Лидия ездит за ним, отыскивает и возвращает. Если в таких случаях оказывается замешана бабенка, то Лидия свою ругань сопровождает и колотушками. Женщина она рискованная.

Однажды Лидия таким же образом разорила очередную гулянку, выволокла своего милого в подлунный мир и, так как автобусы уже не ходили, потащились они домой пешком. Двигала она ненаглядного не по трассе, где выпивший человек мог угодить под машину, а проселочной дорогой через Кукуй — старый одноэтажный поселок аэропорта.

Пока шли кукуевской деревней, Лидия выдерживала хорошие манеры и лишь изредка тыкала мужичка кулаком в спину, когда тот отклонялся от курса. А на выходе из поселка, где их никто не мог видеть, применила коленку. Пьяный разобиделся, уцепился руками за штакетину садового забора, остановился. Лидия пошумела возле него и отступилась, решив взять терпением.

— Лид, гляди, гляди — щерится! — вымолвил вдруг Анатолий, посмотрев на осколок луны.

— Что значит — щерится? — с хмурой подозрительностью уточнила женщина.

— Насмехается, значит, — пояснил мил-другок.

— Пить надо меньше, тогда и не будет насмехаться, — буркнула Лидия.

— Нет, Лид, не от этого... Ей все равно, выпивши я или нет. Это она над неведением моим щерится. Я вот хожу, трепыхаюсь, а она наперед знает, что со мной будет. И что было — знает. И про тебя знает все...

Лидия с интересом поглядела в выбеленный лунным светом профиль Анатолия. Знала, что если выпивший мужик начинает рассуждать-философничать, значит, он или еще вина потребует, или начнет куролесничать. А пока дело не зашло далеко, надо его в другое мышление направлять. Потому с видом превосходства сказала:

— Надо мной она не смеется... Что ей надо мной-то смеяться?

— Ну как же, Лид? А генералы? Где они у тебя нынче-то?

— Какие генералы?

— Говорят, у тебя в любовниках генералы были...

Лидия любила, когда вспоминали ее лучшие годы. Помолчав, проговорила со вздохом:

— Так уж и генералы...

— Ну, полковник хотя бы один был? — дразнил Анатолий. — А майоров, небось, и не считала?

— У меня и муж удалец был, — похвастала Лидия. — Черноусый красавец-летчик...

— Во-во... Он улетал в небеса, а ты на землю ложились... А?

— А зачем добру пропадать? — простодушно заключила Лидия.

— В те годы на меня ты бы и не взглянула...

— Так ты птенец еще был!

— Незрелый — это да, но... С надеждой! На гулящих бабенок в упор не смотрел. Я первый цвет уважал, любви хотел, семьи... Эх, если бы мне тогда на этом остановиться! А я губу раскатал: и то мне подай, и это, и чтоб сразу, по первому спросу! Так и сошел с круга. А что осталось? Выпивка да бывшая женщина на утеху...

— Что значит — бывшая? — вскинулась Лидия. — Да я еще молодой бабенке сто очков вперед дам!

— Это — да! — не без восхищения подтвердил Анатолий, но тут же съязвил. — А вот детей уже не родишь!

— Зачем тебе дети? И кто их воспитывать будет?

— Жена должна воспитывать...

— Выходит, ты, дружок, губу до сего времени не подтянул, — с упреком проговорила Лидия. — Если не поумнеешь, с одной выпивкой и останешься. — Не утерпев, она тут же оценила себя: — Я-то с круга не сходила. Детей вырастила, о внуках забочусь. И сама еще ничего! Я — свободная женщина. Хочу приму, хочу выгоню. Мне куражливые мужики, которые из-за пустой блажи на забор лезут, не подойдут. Да если б я начала переживать из-за того, что имела и

что потеряла — стон до небес стоял бы. А я дуростью не маюсь. Вот тебя, мужика, приняла. Пою, кормлю, содержу, няньчусь... Мало ли что не успел в прошлой жизни? Успевай в нынешней, пока со мною живешь! У нас с тобой еще много чего может быть. Кроме детей, конечно... Да и в этом ты не обижен. Есть же у тебя сын от первой жены...

— Я его не растил, — вздохнул Анатолий. — Он меня не признает...

— Пригласи к нам... Накормлю, напою, разговор заведу... Может, смягчится...

Анатолий отлепился от штакетины и, растопырив руки, медведем пошел на женщину.

— Умница моя золотая... На кого же менять меня собралась? — зашептал он, притискивая Лидию к себе.

— Да я просто... Для острастки сказала, — расплавляясь в крепких мужских объятиях, усмехнулась она.

— И на мужа своего не сменяешь? — допытывался Анатолий.

— И на мужа не променяю. Он меня сильно обидел...

— А я разве не обижаю? На пьянки вот бегаю...

— Это разве обида? Это так, неразумность... Не знаешь ты, что такое для бабы обида!

— Я с тобой, Лид, жить хочу честно.

— А я с тобой разве по-другому живу?

Из темноты выскочил большой черный пес и, наткнувшись на парочку, от неожиданности взлаял. Следом за собакой вышла хозяйка — немолодая женщина в очках.

— Тетенька, на поводке надо зверя держать, — заметил Анатолий. — Ночью-то испугать может до смерти...

— Я думаю, вам сейчас и море по колено, — проходя, откликнулась хозяйка собаки.

— Да мне что, я не пугливый, а вот моя женщина очень даже боится...

— Сказал бы лучше — жена! — укорила Лидия.

Анатолий обернулся в темноту, крикнул:

— Да-да, тетенька! Это моя жена!

Не разжимая объятий, парочка двинулась к светящемуся вдали поселку. Вспомнив собаку, Лидия усмехнулась, спросила:

— А если бы это был черт?

— Я бы схватил его за бороду и сказал: “Отдай мою душу!”

— А он ее брал?

— Кто ж тогда взял?

— Никто не брал...

— Что же, моя душа никому не нужна?

- Мне нужна, — просто сказала Лидия.
- Тебе бы я ее отдал, потому что ты моя женщина, то есть — жена... Но душа-то тю-тю... Сбежала!
- Ты же сказал, что хочешь жить со мной честно?
- Как сказал, Лидок, так и будет... Но без души.
- Опять куражишься? — построжала голосом Лидия.
- Ничего, милая, не волнуйся. Я же еще не страдал сегодня.
- Надоела мне эта песня.
- В ней, Лидок, моя душа. Вот куда она перекочевала...
- Ну, черт с тобой, — сдалась Лидия. — Пой, страдай, если по-другому не можешь.

Анатолий отлепился от мягкого теплого бока женщины и, как одинокий пес, заголосил, глядя на луну: "Позабыт-позаброшен с молодых юных лет, я остался сиротою, счастья в жизни мне нет..."

К ЮРЕ

На исходе пасмурного сентябрьского дня под крутым склоном Игнатьевской дороги, как раз у сворота на кладбищенскую сопку, остановились три мотоцикла. Седоки, четверо портовских парней и две игнатьевские девчонки, сошли на обочину поразмять ноги. Вечерняя заря растянула под серым небом золотой пояс. Его отблеск падал на лица ребят, засветив в их глазах желтые огоньки, и на лесистые склоны сопки, обращенные к горизонту. Грани холмов, не подсвеченные зарею, уже затягивало плотным осенним сумраком.

Одному из парней, по кличке Седой, бросился в глаза ныряющий в кусты проселок. И он неожиданно предложил:

— Давайте Люлича навестим! С самых похорон не были. Небось заждался уже.

Ребята промолчали. Рыбась возился с мотоциклом, Тыщенко, улыбаясь, глядел на зарю, Добродумов любезничал с девчонками. Седой подумал, что его не услышали, и повторил снова:

— Я говорю, к Люличу надо сходить. С самых похорон не были.

Ребята снова промолчали, причем промолчали как-то уклончиво, будто произнесенное их не касалось. Седой понял, что сам поймался на свои же слова. Дважды повторив их, он как будто послал в темноту, в небытие, неосторожное обещание, от которого не отвертеться, не откреститься, а главное, не исполнить которое уже нельзя. Ребята перемолчали и тем спаслись, а он по-глупому навесил на себя тягостное обязательство, будто невидимым договором себя по-

вязал. Теперь придется тащиться наверх. И хоть бы кто-нибудь с ним пошел! Седой паникерски поглядел на дружков.

— Ну, что, пойдет кто-нибудь или нет?

На его почти что молящий призыв отозвался один Рыбась. Он поднял голову от мотоцикла и хладнокровно обронил:

— Сам иди, коли охота. Мы тут постоим.

— Я-то пойду, — обиженно выдохнул Седой. Ему показалось, что голос его дрожит. На самом же деле он петушино звенел. — Со мной идет кто-нибудь или нет?

— Я с тобой, — ответила Лизка.

Седой запаниковал еще больше. Не ее он ждал. Ну, пусть и она, но с кем-нибудь из ребят. Если она одна, ее же вести надо, как нитку за иголкой. А вдруг с ней истерика? Или она повернет на половине дороги, ему как — за нею бежать или продолжать идти? Он же за нее отвечать должен! И в то же время Лизка все ж таки лучше, чем совсем никого, а ответственность, он по опыту знал, приподымает над страхом.

— Если не забоишься, пойдём, — сказал Седой и взял Лизку за руку. Ребята проводили их хмурыми взглядами. Только Добродум виновато предупредил:

— Вы там недолго!

Да Наташка нервно взвизгнула вслед.

Седой и Лизка нырнули в проем смыкавшихся над головою кустов — и будто сквозь стену прошли, попав из одного мира в другой. Здесь было глухо и замкнуто, как в погребе или амбаре. Ничто сюда не проникало: ни шум трассы, ни голоса ребят, ни золотой свет зари. Как в погребе или амбаре здесь все было одного цвета — серого, с большей или меньшей густотой. Они с Лизкой тоже стали серыми: она в голубой куртке и светлых варенках, он в черном кожане и синих джинсах.

Седой покосился на Лизку: трусит она или нет? Та шла спокойно и руку свою в напряжении не сжимала. Почему же она все-таки с ним пошла? Пожалела его, или из любопытства, а может, чтоб выставиться перед ребятами? Толком ведь из парней никто ее не знает. Ну, гоняет с ними на мотоциклах — пассажиром, конечно, — ну, парным молоком поит, когда матери дома нет, ну, любит носить кожаную отцовскую кепку с уголками на сгибах. А из-под кепки — острая метелочка стянутых резинкою белесых волос. И если при всем том она не пуглива, то и ему нечего дрейфить.

Седой тряхнул широким чубом, смахивая неприятную знобкость, и пристальнее взгляделся вперед. В сгущавшихся сумерках дорога казалась короче, чем была на самом деле. Однажды он уже ее проходил, когда хоронили Люлича. Тогда она была нескончае-

мой. Он шел в плотном окружении, ничего рядом с собой не видя. На середине подъема матери Люлича сделалось плохо и, пока ее отхаживали, процессия стояла. Как Седой помнил, дорога наверх шла зигзагом. Вначале, при небольшом подъеме, она упиралась в боковину горы, затем под крутым углом отворачивала и диагональю вздымалась над обрывом, обманчиво заросшим кустарником и полынью. На вершине она снова отворачивала к макушке горы, где размещалось кладбище, окруженное подступавшим сюда со всех сторон лесом.

Лизку не было слышно. Она будто и не дышала, только их шаги скрипели на песке и мелкой гальке. Этот жесткий звук настырно лез в уши. Но еще настырнее терзало слух сердитое шевеленье леса. Листья, еще крепко сидевшие на ветвях, сделались сухими и вертикальными и при малейшей протяжке верхового ветра заполошенно всплескивали. Казалось, лес кипит негодованьем на тех, кто неурочно внедрился в его покой. В его дебрях что-то хрустело и трескало, словно кто-то невидимый там топтался. Сколько Седому приходилось ночевать на рыбалках, никогда природа его так не глушила. Да вот сейчас на трассе, когда они с парнями стояли, она ведь не бесновалась, а лесу кругом полно, на всех окрестных сопках. С этими кладбищами шутки плохи, и надо ж было ему трепать языком! Седой вспомнил, как в день похорон, когда они Люлича оставили наверху, а сами спустились к ожидавшим их машинам, одна легковушка по оплошности свалилась в яму, скрытую высокой травой. Люди испуганно закричали. По счастью, никто не пострадал, в том числе и машина: Люлич никогда не оставался один, он всегда был с ребятами, но в тот раз он никого не захотел за собою тянуть... А теперь он обижен, и он зовет, иначе зачем бы Седой сюда потащился? И кто его знает, что он захочет сделать ему за обиду на всех? Но нет, не должно этого быть. Люлич был справедливым, а Седой к тому же откликнулся на его зов.

Лизкина рука похолодела. Страшно ей — или просто замерзла?

— У тебя тут кто-нибудь похоронен? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — У меня даже пробабка живая. А ей уже за девяносто.

— И ты ни разу тут не была? — удивился он.

— А зачем? — произнесла Лизка.

— А я хоронил Люлича.

— Отчего он умер?

— Погиб. После армии во Владивостоке остался и разбился на машине. А может, его убили. Точно никто не знает, потому что никто не видел. Привезли в цинковом гробу и хоронили не открывая.

— Сколько лет ему было? — поинтересовалась Лизка.

— Двадцать два.

— Не женатый?

— Самую малость не успел. Должна была быть свадьба, а были похороны.

— Не повезло, — заключила Лизка.

— Ему — да, а нам — нет. На свадьбу не всех приглашают. Во Владивосток и вовсе мало бы кто поехал. А на поминках были все. Два зала в столовой накрывали, и мест еще не хватило.

— Ну, ты сравнил — поминки и свадьбу, — осуждающе произнесла Лизка.

— Конечно, поминки — дело грустное, но на них все приходят. Старые и молодые сидят вместе, никто никому не мешает. Когда еще так бывает? На Юркиных похоронах я первый раз видел, как старые и молодые помогают друг другу. Знаешь, как хорошо, когда все сообща! Люлич умел собирать людей. Вокруг него пацаны вились стаями. Когда он ушел в армию, ребята рассыпались. Своими похоронами он снова собрал всех вместе, наверно, в последний раз...

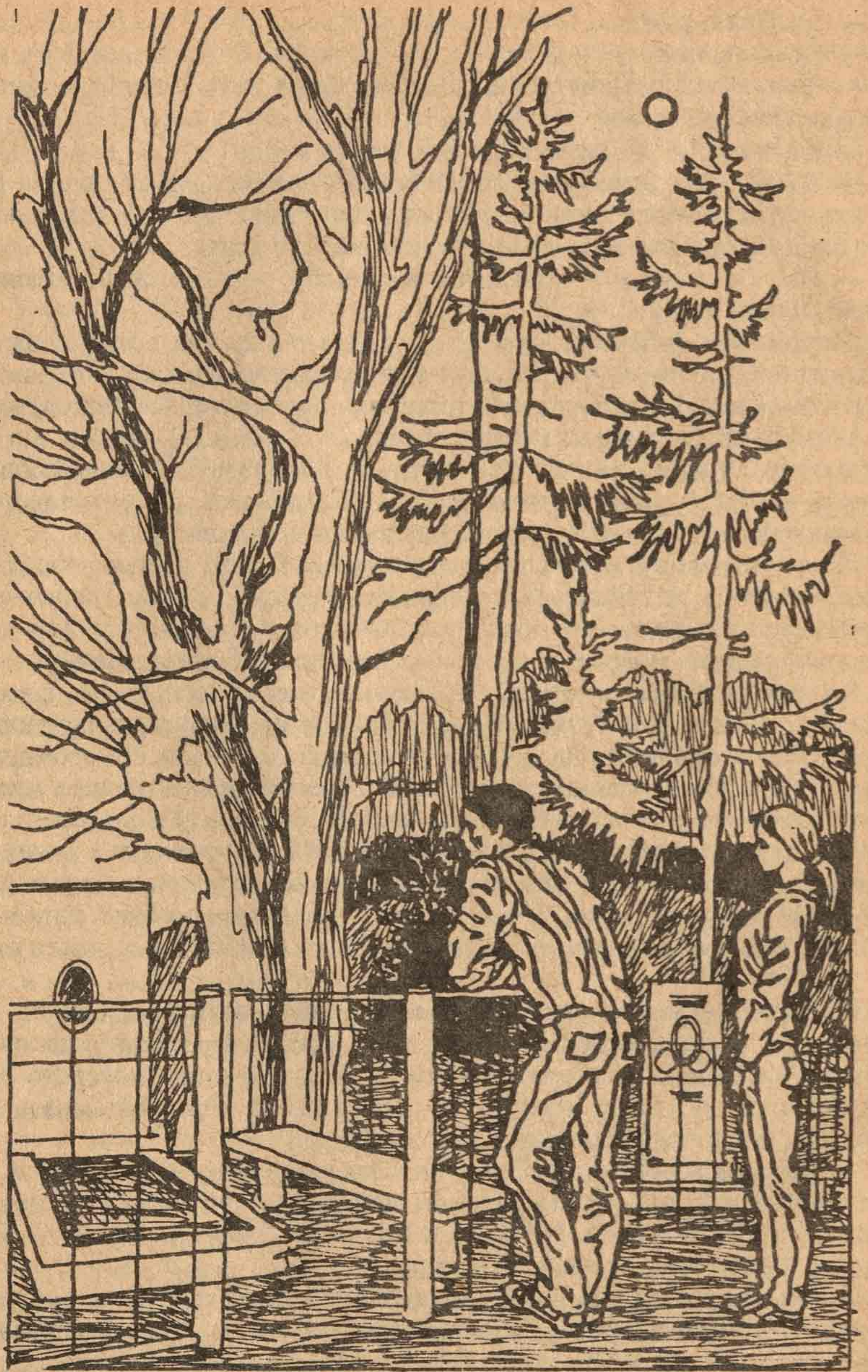
Пригнув голову, Лизка молча слушала. Седой увидел, что они уже поднялись и сейчас будет верхний поворот. В гуще деревьев, обступавших дорогу, он разглядел просвет. Они пройдут эту последнюю стражу и окажутся у цели. Он сказал об этом девочке.

На вершине было немного светлее от неба, которое не совсем еще потемнело, и от марева, белым облаком окружавшего аэропорт. Самого аэровокзала и построек отсюда видно не было. До ребят долетел гул идущего на взлет самолета. Затем он и сам прошел мимо них. Под его брюхом вспыхивали красный и зеленый огни. Самолет описал дугу и нырнул в темный занавес неба. Его гул сначала начисто заглушил ворчание леса, а затем, умолкая, сдерживал его недовольство. Веселое перемигиванье огней подбодрило обоих напоминая, что жизнь — вот она, рядом. И уже без боязни ступили они на кладбище.

Из серых сумерек глядели на них белые надгробья, словно на цыпочках приподнявшиеся в оградках. Лизка с любопытством озиралась. Седой вел ее по широкому проходу, в конце которого рос старый карагач, а под ним находилась могила Юры Артемьева — Люлича, пока еще одинокая в пустом ряду.

— Вот здесь, — сказал Седой и взялся рукой за верх оградки. В его сжатые пальцы вонзились иглы можжевелевой гирлянды, повешенной в день похорон. “Сердится Люлич, — подумал Седой. — Он теперь всегда ждет, а мы не приходим”.

Лизка поверх оградки рассматривала памятник со смутно видневшейся на нем фотографией. Седой приник лицом к своей руке, державшейся за ограду. Он винился. Позади него с угрюмым осужде-



нием шевелился лес. Его шум уже не страшил, а досаждал нудным однообразием. Неужели он постоянно так ноет над Люlichem?

— Зря мы не взяли магнитофон, — сказал Седой Лизке. — Он послушал бы музыку.

— Ты что! — ужаснулась Лизка. — Да тут же одни старики и старухи! Они бы от злости из могил повылазили!

Седой растерянно уставился на Лизку. Вот, значит, в какую компанию Юрка попал! Надо же, как смерть над ним посмеялась! От волнения Седой полез в карман за сигаретами.

— И мне дай, — шепнула Лизка.

— Ему — тоже, — сказал Седой.

Огонек спички озарил бледное Лизкино лицо, с сузившимися в темноте, беспокойно горевшими глазами, вздрагивающими ноздрями и выпятившимся вперед подбородком, словно Лизка глядела на него из будущего. “Крутой у нее будет характер”, — мельком подумал он, вошел в оградку и положил пару сигарет в изголовье могилы. Наклоняясь, он столкнулся взглядом с глазами на Юркиной фотографии. Люлич будто бы ошарашенно спрашивал: “Что такое со мной приключилось? И почему именно со мной?” Точно так же смотрели его глаза на похоронах с этой самой фотографии, которую несла тогда сестра Седого, Вероника. Седой вспомнил, как цинковый гроб Люлича, прямоугольный и длинный, точно школьный пенал, поставили на табуретки перед подъездом дома, и мать Люлича сказала: “Принесите портрет. С кем же я буду прощаться?”, а Вероника, заслоненная людьми, не сразу к ней добралась. Мать Люлича потерянно упала на серый холодный прямоугольник. Потом, когда гроб опустили в яму, Вероника с портретом стояла возле карагача над могилой, и всякий, кто бросал землю и кто окружал яму, встречался глазами с Люlichem, и каждого он спрашивал. Но людям некогда было отвечать. Они хлопотали над успокоением его тела. Теперь же Седой чувствовал себя припертым к стене, и ответить ему предстояло за всех. Правда, он не все знал, а чего не знал, то должен был знать сам Люлич.

Седой попятился назад и опустился на скамеечку, поставленную в ограде. Лизка вошла и села рядом, прижавшись к нему худым боком. Они курили. Лизка молчала. Седой мысленно разговаривал с Люlichem.

“Ты умер, Юра, — объяснял он. — Мы в это не верили, даже когда отнесли тебя на кладбище. Но потом твое тепло начало уходить. Идешь по поселку, а твои следы под ногою не греют. Глянешь на подъезд, а твоим дыханием оттуда не веет. Скажешь вслух: “Юра Артемьев” — и ниоткуда не отзовется. Это значит, что ты неживой. А почему неживой, мне неизвестно. Смерть за всеми гоняется, но не всякого ей удастся схватить”.

Первый раз протянувшуюся к нему лапу смерти Седой ощутил лет в девять. Он в грозу купался на Симонихе. Сверкнула молния и, видно, зацепила воду. Седого со страшною силой толкнуло в поясницу, и сразу же отнялись ноги. С испугу он погреб к берегу на одних руках, выбросился на траву, в мгновение оделся, обулся, натянув даже носки, вскочил на велосипед и погнал. Уже отъехав, сообразил, что ноги у него, оказывается, снова в полном порядке: впопыхах не заметил, когда это произошло...

А два года назад Седой из костра тянул мотоцикл. "Сейчас взорвется! Сейчас взорвется! — кричали ребята. Он и сам понимал, что взорвется, но мотоцикл не бросал, потому что по его вине он свалился в огонь и потому что был он чужой. Он вытянул машину на сырую от росы траву и упал рядом, гася на себе огонь. У каждого пацана сколько угодно таких историй, когда смерть хватала и не сумела схватить. У Люлича они тоже бывали. Но в тот раз она достала. "Зачем-то ты ей понадобился. Теперь-то, небось, знаешь зачем? А мы с ребятами думаем, что она тебя сцапала не по праву. Из полета выхватила. Ты ведь еще только взлетал".

Седой и Лизка выкурили свои сигареты и продолжали заморожено сидеть. Неизвестно, отчего замерла Лизка, Седому же в шелесте листвы чудилось ответное бормотанье Люлича. Оно звучало невнятно и неразборчиво, как легкое хлопанье воздушных пузырьков, и Седой затаился в надежде разгадать его смысл. Лес, который сначала недовольно отпугивал, теперь убаюкивающе завораживал, словно собирался навсегда поселить их здесь. Им надо было пошевелиться, чтобы снять наваждение, а они в оцепененье застыли.

Где-то позади них в толщу лесного перешептыванья внедрились иные звуки: какая-то возня и человеческие голоса. Яркий луч света вспыхнул за их спинами, озарил могилу и ствол карагача.

— Ну чего вы там? — слышался недовольный голос Рыбася.

В ту же секунду Лизка вскочила на ноги и, не глянув на спутника, выметнулась из оградки. Не разбирая дороги, она ослепленною бабочкой летела на свет. Седой тоже очнулся, поднял онемевшее тело, мысленно попрощался с Люlichem и пошел, ступая сначала неловко и скованно, потом разошелся и, наконец, побежал, заслоняясь рукой от бьющего в глаза огня.

— Вы там заснули, что ли? — ворчливо встретил его Рыбась.

Вместе с Добродумом они вкатили на гору мотоцикл.

— Люлич отпустить не хотел, — сказал, подойдя, Седой.

— Нечего по ночам лазить куда не надо, — пробурчал Рыбась и приказал придерживать мотоцикл, чтобы не уронить его в обрыв.

Лизку, похоже, трясло. Она вздрагивала, как лошадь, и глаза ее безумно горели. Добродумов обхватил девочку за плечи и повел вниз. Седой с Рыбасем следом катили мотоцикл. Седому точно хмель какой вошел в голову. Так ему стало легко и невесомо, как листку осеннему, которому не жаль уже отрываться от дерева.

— Как понимать “не отпускал”? — поинтересовался Рыбась.

— Вроде как втолковывал что-то.

— Что втолковывал? — допытывался Рыбась.

“А правда, что?” — подумал Седой. Он снова прислушался к лесу, но тот молчал как заговорщик. Тогда Седой по памяти стал воспроизводить в себе все шумы, которые слышал у Люличевой могилы. А из них выбирал лишь те, что сквозили меж трепетаньем листы и напоминали по звуку лопающиеся пузырьки воздуха. Он вслушался в них и понял смысл.

— Старайся не помереть, вот что, — сказал Седой.

— Ты, небось, сам себе это втолковывал, — усмехнулся Рыбась.

Лизка, шедшая с Добродумом чуть впереди мотоцикла и сбоку от световой дорожки, пробиваемой во тьме фарой, резко обернулась и зло выпалила:

— Лапшу вешает. Если б вы не приехали, он бы помер там и меня за собой утянул.

— Успокойся, Лиз, успокойся, — примирительно проговорил Добродум.

— Да чего уж, — обозлилась она еще больше. — Ему покойники интереснее, чем живые!

— Давайте быстрее! — скомандовал Рыбась. Ему не терпелось скорее выбраться на трассу.

Седой молчал. В самом деле, там, на кладбище, он про девочку забыл, и она это поняла.

Когда усаживались на мотоциклы, Лизка потребовала отвезти ее домой, и ребята повернули машины в Игнатьево.

ЧЕРЕМУХА БЕЛАЯ

После девичьего полуночного обхода по трассе — со страданиями о черемухе белой, которая много бед понаделала, — поселок убаюкался и затих, как сморившееся дитя под боком у матери. Матерью в данном случае был аэропорт, круглые сутки не смыкавший глаз. А над уснувшим поселком июньская ночь раскинула тончайшее покрывало, пронизанное звездным и лунным сиянием, овеянное запахами цветущих трав.

Когда мальчики Серега Муха и Олежка Дозор, неизвестно почему не угомоненные до сих пор, брели по фасадной стороне одного из пятиэтажных домов, цепью вытянувшись вдоль трассы, ни одно окно уже не светилось. Только из темных недр чьей-то квартиры тихо струилась кудреватая мелодийка все той же черемухи белой, много бед понаделавшей.

— Смотри! — толкнул приятеля в бок Олежка Дозор. — Бабка Слудцева на балконе колдует!

Муха глянул — и на балконе второго этажа различил призрачную фигуру, вздымавшую вверх руки. Фигура была словно соткана из тех же легчайших тканей, что и ночь, а движения рук были по-девичьи гибкими и плавными.

— Ты что, разве это бабка? — шепотом откликнулся Серега Муха. — Это кто-нибудь у нее!

— Да кто у нее может быть? Она одна совсем!

Серега с сомнением всмотрелся в призрачную фигуру.

— А зачем она колдует?

— Т-сс! Тихо!.. Наверно, взлететь хочет.

— Взлететь? — Муха так и загорелся. — Давай посмотрим!

Олежка мгновение посоображал — время-то позднее, — но согласился:

— Спрячемся вон там, под сосной.

Ребята тихонько повернули к посадке, отделявшей дом от трассы, и улеглись под молодой сосенкой, росшей против бабкиного балкона. Сосновые ветки укрывали их, и бабку отсюда было видно хорошо. Правда, Серега Муха по-прежнему не верил, что это бабка, до того воздушны были ее очертания.

Фигура на балконе “колдовала” руками: то подымет их вверх и соединит над головой, превратив себя в тоненький столбик, по которому стекает звездный свет, то разведет в стороны — и между ними натянется тончайшая кисея ночи, то уронит руки вниз, а лицо поднимет к небу, точно загорая под лунным сиянием.

— Может, она лунатик? — предположил Муха.

— Нет, — покачал головой Олежка. — Она б тогда по перилам ходила.

— Чего ж она не взлетает?

— Не знаю. Наверно, слова перепутала. У нее того — крыша едет, дом стоит. А может, аэропорт помехи дает. Там же локаторы всякие...

— Она чего-то бормочет. — Поползли, послушаем!

Они подобрались к самому балкону и под его прикрытием поднялись в полный рост. Бабка вниз не глядела. Задрав голову вверх, она вся тянулась к небу. Они расслышали ее негромкий надтреснутый голос:

— Звезда Козерог, увидь меня! Я здесь, в домике на балкончике! Дай знак, позови!..

Ребята тоже задрали головы — не мигнет ли какая из звезд. Им было немного не по себе. Фигура на балконе, должно быть, чего-то углядела над собой, потому что стала делать резкие, ловящие движения.

— Заводится! — зашипел Дозор. — Сейчас полетит!

Они метнулись назад к сосне и залегли, наблюдая.

Но бабка все работала руками в воздухе. И так долго она заводилась, что ребята устали смотреть и сами не заметили, как задремали. А когда, вздрогнув, проснулись оба, балкон был пуст, стояла глубокая ночь, и “черемуха белая” уже ниоткуда не слышалась. Молчком, с жутковатым чувством они разбежались по квартирам.

Улегшись в постель, Муха подумал: “Неужели взлетела?” — но тут его самого понесло кружить по крутым переулкам сна. А проснувшись утром, он и думать забыл о бабке, и долго б, наверно, не вспомнил, если б она сама в этот день ему не попалась.

В третьем часу пополудни, когда поселковые магазины закрыты на долгий обеденный перерыв и двор на время пустеет, а в жаркую пору просто-напросто вымирает, Серега Муха вышел из подъезда — и увидел бабку Слудцеву, сидевшую на лавочке в кустах.

Лавочек в этом месте было целых три. Две из них прикрывала тень, а третью раскалял поток лучей. Так вот, бабка сидела на третьей, на самом солнцепеке.

На голове ее была кружевная шляпка, на худом теле — пышное, как облако, короткое платье ослепительной белизны, в мелкую, едва приметную издали черную крапинку. “Черемуха белая”, — подумал Муха и хихикнул. Но тут же вспомнил ночь, загадочную фигуру на балконе, и снова ему стало жутковато и любопытно. Помедлив, он подошел и поздоровался.

— Здравствуй, милый, — она подняла на мальчика круглое и гладкое, как луна, лицо. “Странная все же бабка! — удивился про себя Муха. — Все в ней как у молодой, а не молодое”. И правда: несмотря на то, что и лицо у нее было без морщин, и тело поджарое, и осанка прямая, как у артистки, все равно было ясно, что она дряхлая старуха. Он посмотрел на бабкины руки, обхватившие ребро скамейки, на ноги, которые она держала вытянутыми перед собой. И то и другое было сухим и негнувшимся. Отчего же вчера эти руки померещились ему молодыми и гибкими? Или она вправду колдунья?

— Что вы, бабушка, на солнцепеке сидите? — спросил Муха.

— Лечусь, — бабка показала глазами на вытянутые ноги, ис-

пещренные корочками подсыхающих язв и красными точками нарождающихся болячек.

Муха постоял, посопел и, собравшись с духом, спросил:

— А что вы ночью на балконе делаете?

Бабка Слудцева не рассердилась, не испугалась, не зашипела на него: откуда, мол, он знает. Так же спокойно, нараспев ответила:

— Тоже лечусь. Днем я лечусь солнцем, а ночью звездным светом и свежестью.

— А вы летаете?

— Летаяю? — вот тут она удивилась. — С чего ты взял?

— Вы так размахиваете руками... Будто вот-вот взлетите.

— А-а! Это я их разминаю, — бабка вытянула клюковатые руки и пошевелила узловатыми пальцами. — Они у меня костенеют, а мне шить надо, я портниха. А летать?.. Всю жизнь мечтала летать, но получалось это только во сне. — Голос у нее тоже был какой-то окостеневший — сухой, однотонный, без живых переходов, хоть и говорила она нараспев.

— О-о, если б я могла полететь, я бы сбросила с себя все болезни.

Муха сел напротив бабки на одну из скамеек, стоявших в тени.

— А лечение вам разве не помогает? — спросил он.

— Помогать помогает, да не совсем. Старческие болезни приживчивы. Сами не проходят, и гонишь — не идут.

— Так и не вылечиваются? — поразился Муха, не представляя себе, как можно болеть и не выздороветь.

— Хорошо, если одна привяжется, а если две или три — так все разом и грызут.

— Для чего тогда человеку старость? — вырвалось у мальчика.

Бабка строго на него посмотрела и проговорила наставительно:

— Для последнего испытания. Чтобы подготовиться к уходу из этого мира.

— Зачем стариков-то мучить? — хмыкнул Муха. — Ну, я понимаю, испытывать молодого, чтоб закалялся...

— А человек всю жизнь испытывается, в каждом возрасте по-иному.

Муха на минутку задумался. Он десять лет на свете живет и что-то не замечал, чтобы его кто-то испытывал.

— И я испытываюсь? — недоверчиво спросил он.

— Конечно.

— А как?

— На поступок, вот как, — серьезно сказала бабка. — На поступок ты испытываешься. И за поступок судишься.

— Кем я испытываюсь?

— Испытываешься ты судьбой и высшим предназначением, а су-

дишься своей совестью, людским мнением. Последний же суд — там! — бабка подняла вверх длинный негнувшийся палец.

Муха, щурясь, посмотрел вверх, в яркую синеву июньского неба, потом опять на бабку. Пошмыгал носом.

— Вы, бабушка, на все вопросы ответы знаете?

— На все — нет, — ответила она. — Хотя я, конечно, грамотна: в войну на телеграфе служила, потом всю жизнь в театре работала. Но чтобы все знать, такому я не обучена. Ведать, правда, о многом ведаю.

— Как это — ведаете?

— Сейчас объясню, — воодушевилась бабка. — Тело у меня видишь какое — снаружи ветхое, в дырах, а изнутри стянутое, костяное, двигаться не дает. В магазин сходить — и то мука целая... Но я на месте не кисну, я духом странствую. В таких пространствах блуждаю, куда и космонавты не залетают. С моих-то рассказов ученый человек мог бы открытий наделать. Но где здесь, в поселке, ученые люди?

Ничего подобного от своих бабки с дедом Муха не слыхивал, поэтому заинтересованно уточнил:

— Все старые люди, что ли, ведают?

— Не все. Есть заземленные, они духом не рыскают, в телевизор глядят. А я всегда над бытом приподнималась... Вот — нравится тебе моя шляпка? А платье?... Сама придумала, сама сшила! Видал ты когда-нибудь лопнувшую коробочку хлопка? Не видал? А я в Таджикистане жила, хлопок собирать ездила. И вот — в платье отобразила. Скажешь, старухи такое не носят? А я ношу, разрушаю привычку.

Муха слушал, приоткрыв рот. Таджикистан... Ему представилась песчаная пустыня, а по желтому песку ковыляет множество дряхлых бабок, и все в белых платьях, пышных и коротких.

— Я в театре мастером по костюму была, — продолжала она. — Национальные одежды шила, исторические, современные. Как на сегодняшнюю-то жизнь, да годков двадцать мне скинуть, я бы свою коллекцию создала, по городам бы возила, людей дивила. У меня раньше отрезков было — все полки завалены. Я тонкие ткани любила, прозрачные, со светом. Ничего теперь не осталось. Как пошли похороны — одни за другими, одни за другими, — так все и продала, чтоб расходы покрыть. А потом и сила ушла. Я это платье мастерила и плакала: работа кропотливая, вдумчивая, а пальцы не слушаются! В каждую перетяжку по ниточке резинки вшила, — оно, видишь, буфами все. Другие и при здоровье такого не могут, а я на себя наступаю, креплюсь и делаю...

Рассказывая, бабка водила перед собою руками, облачко ее

платья колебалось, словно хотело вспорхнуть. На Серегу опять нахлынуло виденное прошедшей ночью, и снова в нем шевельнулось подозрение: а ну, как она и в самом деле летает?

Через двор, как через раскаленную пустыню, истомленно перебирался одряхлевший богатырь Закир и, дойдя до лавочек, где сидели старуха Слудцева и мальчик Серега Муха, остановился перевести дух.

Закир был обрусевший татарин, которого все в поселке звали Захаром. Он давно смирился со своим обрусением, но иногда национальные корни чересчур настойчиво к нему взывали, и он ворчал: "Для вас я Захар, а для себя самого Закир. Это я должен помнить!" Но забывал — и по-прежнему жил на русский манер. Лет тридцать назад Закир трудился в аэропорту грузчиком. Потом по здоровью перевели его в дворники, и он очищал от бутылок привокзальный лесок. Когда же вышел на пенсию, взялся мести у жилых домов. Но теперь и метла в его руках уже не играла, а вяло скреблась, тоскуя по сноровистым рукам и разудалым взмахам.

Закир внимательно оглядел белое платье и кружевную шляпку старой модницы и с веселым изумлением воскликнул:

— Катерина Федоровна, это ты тут, что ли, болячки сушишь? А мальчика зачем рядом держишь?

Бабка Слудцева, в общении с мальчиком забывшая о своих болезнях, поморщилась и недовольно ответила:

— Мы с ним беседуем.

— Побеседуй лучше со мной, годком своим, — сказал, усаживаясь на третью скамейку, Закир.

— Не о чем нам с тобой говорить, все давным давно переговорено, — пробурчала бабка.

— Со мной не о чем, а с ним есть о чем? — обиделся дворник.

Старуха нелюбезно молчала. Он пожевал губами, посмотрел на нее. — Про театр рассказываешь? Каким воздухом там дышала? Э-э!.. — он покачал головой, сказал с издевкой. — Это там ты столько яду набрала, что он язвами до сих пор выходит?

Бабка и на это промолчала. Закир вздохнул. Обида его уже истаяла, и он сказал примирительно:

— Платье на тебе, как на балерине. — И, подумав, посоветовал: — Для гроба лучше бы сберегла.

— Ты что, Закир, от жары умом тронулся? — вскинулась бабка, одна во всем дворе называвшая его настоящим именем. — Невесть чего мелешь!

Закир удивленно уставился на нее:

— Что я неправильно сказал? Я все правильно сказал, вот у мальчика спроси. Платье на тебе красивое — я сказал. Ноги у тебя бо-

лят — я сказал. Говорить со мной не хочешь, а мне обидно — тоже сказал, не сказал, так намекнул. А чего я не сказал, так это вот что. Ты мне когда халат сошьешь?

— Материал тащи, — проронила бабка.

— Где я тебе возьму матерьял? Нет у меня матерьяла. Из своего шей.

— И у меня нет. Все, что было, на деньги перевела, а деньги потратила.

Закир задумался, грустно вздохнул.

— Эх! А вообще-то, зачем мне халат? Двор в нем мести, что ли?.. Опять же, люди вспомнят, что я татарин, а я про то и сам позабыл.

— Ну и плохо, что позабыл, — укорила бабка.

— Я долго помнил, старался помнить, а потом решил, что не надо. Все люди тут одинаковые, а я разный буду?

— Ну и что же, что разный, кому это помешает?

— Никому, конечно... — покивал головой Закир. — Да... Был бы халат — легче, наверно, было бы помнить. Я бы к тебе, Катерина Федоровна, чай в нем ходил пить.

— Со своим сахаром, — подсказала бабка.

— Нет, лучше со своей заваркой, а сахар твой.

— Ну, пусть так будет, — согласилась бабка и засмеялась булькающим смехом. И Закир засмеялся — будто в бочку заухал...

“Оба летают!” — поглядев на них, понял Муха, слез со скамеечки и пошел потихоньку восвояси, в заключение подумав: “А что им, старикам, еще делать, как не летать?”

ПЕРЕПУТАЛИСЬ

Два чем-то похожих мужика, Иван Меленков и Петр Кузовков, выпивали в пятницу вечером на кухне у Меленковых, а потом, как были в одеждах, завалились спать в комнате на диване.

Рано утром, еще потемну, жена Ивана Надежда растворила дверь спальни, где она запиралась с детьми, увидела их, храпящих на диване, и, проходя мимо, в раздражении отвернула голову. На кухне она пошвыряла в мойку грязную посуду, но когда все перемила и убралась, на душе у нее полегчало. Она принялась готовить завтрак.

Вкусный дух свиной за жарки перетек из кухни в комнату, расстроил одного из спящих. Он спустил ноги на пол, посидел в туманном соображении и поплелся на запах.

Надежда, стоявшая лицом к плите, краем глаза уловила, что муж прошел через кухню и опустился на свое место — за холодильником. Она молча взяла тарелку, наложила в нее дымящейся картошки, полила сверху густою зажаркой, протянула было тарелку к сидящему, но на полпути вдруг отдернула руку и с решительностью отказала:

— Петя, ты у нас поужинал, а завтракать иди домой.

— Надь, ты что, своих не узнаешь? — произнес сидящий.

Надежда осуждающе на него посмотрела и еще упрямей проговорила:

— Не сиди понапрасну, Петя. Кормить я тебя не буду.

— Надька, на чем другом характер выказывай, а на кормежке человека не изводи, — обиделся сидящий. — Придуряться надумала, собственного мужика не узнает. Сходи глянь, кто на диване лежит, а кто на кухне перед тобою сидит.

— Ладно, гляну!

Женщина поставила тарелку на стол и пошла в комнату. Мужик двинул за нею.

Еще недостаточно рассвело, хотя часы показывали восемь: декабрьское утро нехотя просыпалось. Надежда взглянула на спящего при блеклом освещении из окна. Не поверив своим глазам, включила электрический свет. На лице ее отразились подозрение и гнев.

— А ну, подымись! — тряхнула она спящего, стоящему же рядом скомандовала, — А ты сядь!

Усадив мужиков рядом на диване, поднесла к их глазам зеркало.

— Допились, что перепутались.

Оба мужика, и прежде чем-то схожих, сейчас близнецами повторяли друг друга, два Петро-Ивана с перепутанными чертами.

Мужик, только что разбуженный, непонимающе ткнулся в зеркало и ничего в нем не углядел. Мужик, проснувшийся ранее, ошеломленно переводил взгляд со своего отражения на лицо товарища. Запутавшись в ликах, он взмолился:

— Надь, разбери нас!

— Ничего не знаю, у меня дела полно, — отказалась Надежда и ушла в ванную затевать стирку.

Когда она вновь показалась в комнате, один из мужиков снова дрых, другой понуро сидел на краю дивана.

— Еще не прочухались? — с неудовольствием выговорила она.

— День на дворе, а они толку себе не найдут.

— На-а-дя, меня ты хоть признаешь? — занудил сидящий.

— Не признаю и признавать не собираюсь, — отрубила Надежда.

Она сновала по комнате, собирая себя в магазин. Неброская ли-

цом, она была очень приметна на тело, каждая часть которого заявляла о себе особо. “Это точно, — рассуждал про себя сидящий мужик. — Такую задницу ни к одной бабе не приставишь”. Надежда облачилась в просторную шубу, прихлопнула себя пушистою шапкой и, сделавшись таким образом еще приземистей, подалась из квартиры.

Из спальни выглянул проснувшийся сынишка Меленковых и опасливо зашлепал в обход дивана.

— Ты что, Ромочка, меня боишься? — разгадал его маневры сидящий. — Ну-ка, скажи, кто я?

— Дядя Петя Кузовков, — выпалил малыш, стреканул мимо и спрятался в ванной.

Следом туда же пронеслась дочка Меленковых.

— Анют, Анюта, постой, — безуспешно позвал ее сидящий мужик, горестно вздохнул и сильнее понурился.

Тут в квартиру вошел сосед по площадке Иван Кашуба.

— Иван Фомич, разберись хоть ты с нами? — обрадовался гостю сидящий.

— Кого разобрать? — не понял сосед.

Мужик на диване мотнул головой.

— Между нами двумя разберись!

— Вы что, с Иваном поссорились? А где Надежда?

— На нас двоих посмотри! — взмолился сидящий.

Сосед Иван Фомич скосил глаза на лежащего, а затем так же, как и Надежда, растолкал его и посадил.

— Да вы, ребята, того, в дрободан перепутались, — озадаченно проговорил он. — Вытрезвлять вас или чего?..

Сосед постоял в раздумье, поскреб затылок и заключил:

— Медицину надо звать. Без нее не поможет. Пойду-ка схожу в санчасть, позову оттуда кого-нибудь.

Иван Кашуба вышел на белый, в солнечном разливе, двор. Там, поскрипывая по снегу сапогами, нестройной ватагой двигались в магазин мужики. Иван подождал, когда они приблизятся к его подъезду, и со смехом сообщил:

— Иван с Петром вечером вчера пили и перепутались. Сидят на диване — не разберешь, где Меленок, где Кузовок.

— Они, вроде, так схожи, — остановились перекинуться словом мужики.

— А сейчас вовсе перемешались. Сходите, гляньте, я только что оттуда. В санчасть за врачами иду.

— Ну-ка, проверим! — заинтересовался кудрявый заводной мужик по фамилии Папанин.

Ватага загремела сапогами по лестнице наверх, а Кашуба, засунув руки в карман полушубка и приподняв плечи, поспешил за медпомощью.

Весть о перепутавшихся мужиках залетела в магазин, когда Надежда складывала купленный товар в сумку. В раздражении она зашвырнула последний сверток так, что, будь это яйца, наверняка превратились бы в яичницу и, не обращая внимания на любопытствующие взгляды, с насупленным видом пошла прочь из магазина. Во дворе каждый встречный вопросительно глазел на нее: что, мол, там у вас приключилось? Надежда смурнела, злилась и воротилась домой сильно не в духе.

В квартире собралось полно мужиков. Собственные дети испуганно выглядывали из ванной комнаты. Виновники кутерьмы кроткими голубками сидели на диване, выставив на обзор абсолютно одинаковые физиономии. Субботний день, работы по дому невпорот, а тут невесть что творится. Погнать бы всех в шею, да с этими двойниками надо же что-то решать.

— По одежке, по одежке нас различайте, — просил собравшихся один из перепутанных, считавший себя Иваном. Увидев в прихожей Надежду, он завопил: — Надь, глянь, ты носок зашивала!

Надежда прошла к дивану, рывком приподняла протянутую к ней ногу, взглянула на пятку.

— Ну, я штопала, моя рука, — признала она, но тут же отшвырнула ногу и в сердцах высказала: — А то вы не могли за ночь носками поменяться!

Мужик, считавший себя Иваном, обиделся:

— Не может того быть, чтобы жена своего мужика не признала!

— А такое бывает, что свой мужик у чужого рожу перенимает? — не уступила Надежда.

В это время Кашуба ввел в квартиру врачиху Фаину Сергеевну. Толпящиеся посторонились.

Фаина Сергеевна встала перед оплошавшими мужиками. Оба были изрядно ей знакомы и как жильцы одного поселка, и как трудяги одного коллектива, и как пациенты общей на всех санчасти. Всмотрелась в их лица и безнадежно покачала головой.

— Эк вас угораздило — так перелиться! Без клинического анализа не обойтись.

— Во-во, по крови определяйте, — ухватился за предложение будто Иван.

— Лаборатория по субботам не работает, — разочаровала его Фаина Сергеевна. — Сомневаюсь, что она вам поможет. По-моему, вы биологически перемешались.

— Как же нам быть? — запаниковал будто Иван.

— Так и быть, — развела руками Фаина Сергеевна. — Приходите в понедельник, будем вас обследовать.

Больше ей сказать было нечего, и она ушла. А в квартиру людской молвой принесло Тамару Кузовкову, жену Петра.

Если Иван с Петром еще до случившегося походили друг на друга, то их жены никогда в сходстве не замечались. Надежду из-за грузности в средней части тела как будто бы подавало книзу. Тамару ее длинноноготь возносила наверх. Надежда была по масти сивенькой, на лицо невидной. Тамара, по-цыгански черная, золотозубая, — всегда на виду в любом окружении. Надежда в хлопотах о семье забывала себя. Тамара никогда о себе не забывала и любой разговор начинала со слова “я”. Таких, как Надежда, называют коротко — “баба” и ничего к сказанному не добавляют. Таких, как Тамара, в глаза величают “супруга”, а за глаза — “выдерга”.

Тамара протиснулась к дивану. На ее нервных губах вилась презрительная усмешечка. Мужик, считавший себя Петром, опасливо поежился. Он уже начал приходить в себя, и появление жены на народе его тревожило.

— Томка, забирай одного, второй Надьке останется, — бросил ей Папанин. Он князем восседал в кресле посреди комнаты, верховодил и распоряжался. Его глаза цвета морской волны возбужденно блестели, седоватые кудри взвихренно торчали по сторонам.

— На что он мне? Пусть Надька пригребает всю двойню, — повела плечом Тамара.

— Тебе что, мужик не нужен? — изумился Папанин. Тамара ужимисто дернулась и сквозь поджатые губы процедила:

— Перепутался бы с кем-нибудь путным, а то нашел пьянчужку.

— Мой пьет, так дома, а твой по чужим домам бродит, — не осталась в долгу Надежда, стоящая в дверях спальни.

— Вот и приваживай, коль одного пьяницы мало, — ехидничала Тамара.

— Лучше ты своего держи при себе, а не пускай по двору, как безпривязную скотину, — не спускала Надежда.

— Давайте по-тихому, женщины, — вмешался в перепалку Папанин. — Томка отказалась. Ты, Надька, кого берешь?

— Никого! — озлилась Надежда.

— Что так?

— А так! Мне свой мужик нужен, а не этот, перепутанный!

— Как же быть? — спросил Папанин.

— Не знаю, — буркнула Надежда.

— Тогда так: раз добром не берете, мы насильно разделим, кому какой достанется, — постановил Папанин.

— Кто бы вас слушал? Раздельщики!.. — фыркнула Тамара.

— Чужака не возьму! — заявила со своего места Надежда.

В разговор встрял Кашуба, мужик зрелый, неспешный мыслью, зато крепкий соображением. Он устроился у стенки на корточках, так как ничего другого для сиденья в комнате не осталось.

— Давайте их по умению разведем, — предложил он. — Человека по ремеслу отличают. Что один знает, того другой не может. Иван с Петром тоже не во всем сойтись должны. Когда бы проверочку им устроить... Труд из обезьяны человека сделал, а этим всего-то в свое обличье войти.

Кашубин совет показался дельным, но поначалу толку из него не пошло никакого. У Ивана с Петром ни в чем не удавалось найти разницу. Оба работали слесарями. Что знал один, то мог другой. Оба имели по двое детей и по одной, хоть и непохожей, жене. Жили в одном поселке. Жилплощадь имели равную. На работу и с работы ходили в одни и те же часы. Водку покупали в одном магазине. От семьи отдыхали в одном гараже. Ну где тут нащупаешь разное?

В конце концов будто Иван, которому ради своей Надьки, позарез захотелось стать точно Иваном, припомнил, что в молодые годы его обучали сапожному делу. Правда, с той поры он ремесло это забыл и забросил, но, может быть, руки припомнят?

— Что ты — гвозди начнешь перед нами забивать? Это мы все умеем, — засомневались присутствующие.

— Зачем гвозди? Я Ромочке валенки починю! — загорелся будто Иван.

— А ты валенки чинить можешь? — спросили у будто Петра. Тот отрицательно мотнул головой.

Будто Иван окрыленно залетал по квартире. Из прихожей приволок рваные сынишкины валенки, из потаенных мест вытянул старый валенок на подшивку, из кухни притащил доску, из сундучка с инструментами достал резак с косым лезвием. Пока суетился и бегал, повадки бывшего Ивана в нем обозначились. Такой же скоростной и летучий. Петр, тот в движениях провору не знает.

На глазах у публики будто Иван вырезал две подошвы, расплавленным капроном прилепил их к валенками, нахлопнул каблучки. Когда показывал работу, был уже истинно Иваном до самой последней черточки.

— Что, Надька, узнаешь мужа? — глянул на женщину Папанин.

— Узнаю, — блеснула улыбкой Надежда.

— Теперь не отказываешься?

— Не отказываюсь.

— А ты, Томка, забирай, что осталось, — сказал Папанин второй женщине.

— Да он не вовсе такой, как был, — засомневалась Тамара.

И правда, Петров образ до конца будто не проявился.
— Бери, какой есть. Дома доработаешь, — закончил разборку Папанин.

С того дня к Ивану начали таскать на починку прохудившуюся обувь. Надежде хоть и не нравилось, что в квартире маячат чужие ботинки, но ради мужа она смирялась. А Петр, сколько ни билась над ним жена, каких только выволочек ему не устраивала, в прежний облик не возвратился. Так и жил в недопроявленном виде. Да кличка Безремесельный чуть было от него к детям не прилепилась, но они вовремя спохватились и различным умениям обучились.

ОСЫ

Два Олега, Кинский и Боровой, сбежали с драки. Когда к побитому ими молодому мужику выскочила подмога, ребятам ничего не оставалось, как уносить ноги. Защитники разозлились, что не пришлось почесать кулаки, и устроили облаву. Несколько мотоциклов с седоками помчалось к поселку, высвечивая фарами окрестности. Беглецы укрылись в пади у огородов, и погоня, с огнями, ревом моторов и беспорядочной маневровкой, была сбоку от них, то уходя вперед, то возвращаясь. Так как ребята тоже двигались к поселку, то рано или поздно им нужно было пересечь одну из дорог, а уж там спастись, как выйдет. Побить, между прочим, могли и в родном подъезде, у двери в собственную квартиру, и мама бы не выручила.

Короткими перебежками по огородам, западая в ботву и выглядывая сквозь изгороди, ребята пробрались к придорожному сараю, стоявшему в отрыве от таких же строений. От сарая просматривался верх дороги в том месте, где она поднималась прямо ко двору пятиэтажки. Там маячили два мотоцикла с седоками и пешие фигуры. Так, наверно, было и на всех подходах к поселку.

Если вернуться в падь и оврагом обогнуть поселок, то с противоположного края, на самом выходе из пади, стоит их будка. В ней можно было бы укрыться... Но за ней наверняка наблюдали. Парни вопросительно поглядели друг на друга. Кинский сообразил, что у него с собою должен быть ключ от сарая, за которым они сейчас прячутся. Зимой, когда они строили свою будку и материала не хватало, Кинский разорил этот сарай, выдернув несколько досок из пола. Ключ к нему он подобрал тогда в связке, а связка и сейчас была с ним. Он вытащил ее из кармана, ощупью перебрал, отыскал нужный ключ и, повернув за угол, пригнувшись, подобрался к двери. Со стороны домов сарай прикрывала росшая перед ним разлапистая

ракита. Прячась за ее ветвями, Кинский отомкнул замок, тихонько приоткрыл дверь, они с Боровым скользнули внутрь и защелкнулись на задвижку.

Когда-то Кинский уже ночевал здесь. Родители выперли его из дома, и он напросился в сарай к Седому. Тот позволил некоторое время ему тут жить. Когда Седого забрали в армию, Кинский, в благодарность за бывшее гостеприимство, и обчистил укрывавшую его хибару.

С верха дороги не видели, как открывался сарай и как спрятались в нем беглецы. Собака Марс, жившая в сараюхе напротив, тоже не выдала их лаем. Караулящие поездили туда-сюда, посветили фарами, пострекотали моторами и в конце концов укатили. Беглецы уснули.

На рассвете первым очнулся от сна Боровой. Он продрог и отдал себе правый бок. Кинский всю ночь теснил его в провал от вынутой половицы, и Боровой, упираясь, вынужден был спать на ребре крайней доски. Проснувшись, он подвинул приятеля к стене и развернулся на спину.

Утро просовывало розовые пальцы в щели сарая. В редющем сумраке уже можно было кое-что разглядеть. С невысокого потолка прямо на ребят свешивалась длинная серая соска или опрокинутый кувшин с вытянутым горлом, переходящим в желобок, напоминавший черенок ложки. По внешним краям черенок был облеплен осами. Желтоватые насекомые сидели недвижно, словно колдовали над наружной границей желобка. Когда какая-нибудь из них, пятясь задом, сползала в канавку и, вскарабкавшись по ней, забиралась в гнездо, оттуда навстречу выбиралась другая и занимала опустевшее место на краю желобка. Иногда осы совершали полеты, проносясь над ребятами и исчезая в дверной щели.

Боровой дернулся было, чтобы удрать от опасного соседства, но вспомнил о спящем приятеле и удержался на месте, решив ждать пробуждения Кинского. Раз уж эти твари до сих пор их не искусили, может, и дальше не тронут. На всякий случай Боровой загородил лицо согнутыми в локтях руками, оставив узкую щель для просмотра. Что они делают: точат или плетут? Может, гнездо наращивают? Интересно, что у себя дома осы ворошатся без малейшего звука, даже когда совершают полеты. Бывает, в квартиру одна какая-нибудь залетит — так столько жужжанья, словно целая эскадрилья нагрянула. А тут беззвучно сверлят воздух — и ноль внимания на лежащих. Ни одна не отвернула от курса и не любопытствовала, кто же такой в их расположении объявился. Будто нарочно подсказывают: мы вас не трогаем — и вы к нам не лезьте.

Снаружи к сараю подошел бычок. Белая собака Марс, жившая напротив, неожиданно рывкнула, спугнула скотинку. Бычок отшарахнулся, ударив копытом в стену. Гнездо колебнулось. Осы заметались наружу и назад, причем выяснилось, что они знают другие выходы, помимо дверной щели. Боровой забеспокоился сразу о двух вещах: “Сейчас ка-ак гнездо свалится!” и “Хоть бы на нас не кинулись!”

Гнездо удержалось на своем месте, осы успокоились, рассевшись в прежнем порядке. Кинский как спал, так и продолжал спать, даже собачий лай его не поднял. Беззаботный малый. Никуда не спешит. Боровой тоже не спешил, потому что утро было субботнее, выходное.

От домов к белой собаке Марсу пришел хозяин. Принес с собой полиэтиленовое ведро с едой и ружье для чистки. Вид у мужика был помятый и встрепанный. Вчера он выпил и до полуночи гонялся за пацанами, избившими его друга. До рассвета промучился на постели без сна, поднялся насупленный и сердитый с похмельюги. Звали мужика неизвестно как, а фамилия его была Данилов. У него были черные, как чернозем, волосы и припухшее книзу лицо, будто он страдал двусторонним флюсом. Глаза он имел переменчивого двойного цвета: в хорошем настроении светло-карие, а когда свирепеет — наружный цвет разжижается и сквозь него проступают мрачно-зеленые пятна основы. Сейчас глаза у него такие и были, пятнистые.

Данилов спустил Марса с привязи, поставил перед ним ведерко и, усевшись на чурбачок, занялся ружьем.

Собака Марс жила в бывшей поросычье стайке с небольшим загонем, сколоченным из крепких еще досок. Данилов сидел на чурбачке с наружной стороны заплота, лицом к дороге.

Покончив с едой, собака выскочила на волю и сразу же понеслась к сараю, где скрывались ребята. Она просунула нос в расщелину двери, долго заглядывала вовнутрь, потом отошла, покружила немного и вновь вернулась к дверной щели. Так она проделывала несколько раз, чем в конце концов заинтриговала хозяина. “Чего она там высматривает? Может, дичина закралась?” Много лет назад в поселке был случай, что рысь забралась в сарай и удачливому охотнику на шапку досталась. Данилов поднялся с чурбачка и с заряженным ружьем подошел к двери. В сером сумраке сарая он различил лежащих парней, узнал их скорее по догадке, чем по приметам, и почувствовал в себе ловчий азарт. “Вот они где! Не уйдут, сукины дети, сам с ними посчитаюсь”.

В полумраке сарая Данилов не разглядел осинового гнезда. Боро-

вой, в свою очередь, не увидел Данилова, придремал в эту минуту, наверно.

Охотник мягким шагом отошел от сарая, по пути прихватил чурбачок, занес его за заплот, шлепком по колену подозвал собаку, привязал ее и уселся на чурбачок ждать. Марс глядел на него беспокойно и вопросительно. Он понимал, что хозяин выслеживает добычу, но не мог угадать какую. Сквозь редкие доски изгороди охотник глядел на сарай и прислушивался к тому, что там происходит. Чуткое его ухо уловило возню, а затем и приглушенное: — Не дергайся, они не трогают. Я давно за ними наблюдаю.

Охотник пригнулся, прячась за заплотом. Кобель Марс тоже просел, вытянув туловище и уставив нос в просвет между досками ограды. Он понял, какую добычу выслеживает хозяин, но охота на людей его смущала.

Дверь сарая приотворилась. Оба парня выскользнули наружу и повернулись закрыть замок. Охотник поднялся в полный рост, навел на ребят ружье и негромко окликнул:

— Ну-ка, шпанцы!

Парни обернулись мигом, как на зов беды, и больше не шевелились, застыв перед наведенным на них дулом.

Хотя утро давно уже переступило грань розовой нежности и вышло до золотой спелости, никто не шел еще по дороге, никто не показывался со стороны поселка и, может быть, никто даже не выглядывал в это момент из окна крайнего дома. И люди, и природа оставили парней расхлебывать свои невзгоды самим. Боровой, не поворачивая головы, насколько мог, захватил глазами окружающее пространство. Все на земле и в воздухе жило своей жизнью, а их жизнью не интересовался никто.

Кинский, который не раз попадал во всевозможные переделки, не потерял присутствия духа и ворчливым, с ленцою голосом спросил:

— Ты что, мужик, рехнулся?

— Сейчас увидишь, — холодно бросил Данилов, не переставая целиться.

— Какого лешего ты на нас взъелся? — все так же спокойно спросил Кинский.

— Кто моего друга бил? — угрюмо напомнил Данилов.

— Да что с ним сделалось-то?.. Дрыхнет, небось, без задних ног, а ты тут пушкой пугаешь!

— Надеешься, что пугаю? — зло усмехнулся Данилов. — Гляжу, кого первым из вас уложить. А может, обоих сразу?

Собака Марс поднялась на задние лапы и корябала хозяину бок, упрашивая не стрелять. Охотник толкнул ее, не отрывая глаз от парней.

“Стрельнет, — обреченно понял Боровой. — Кинскому его не затормозить”. В армии Боровой видел ребят, которые не умели спокойно взять в руки оружие. Их охватывала истерическая свирепость и всем вокруг делалось не по себе. Этот тоже обалдел от присвоенной себе власти над чужой жизнью.

— Неприятностей захотел, — пробурчал Кинский, все так же беспечно не осознававший опасности. Боровой же глядел на целящегося презрительно и враждебно, чем еще больше растравлял его остервененье.

Палец Данилова уже готов был давить на курок, и природа вдруг это уловила, это отдалось в ней ощущеньем тревоги, которая пошла передаваться всему, что только что жило независимой жизнью. Почувствовав ее, замер воздух, затаились птицы, застыли трава и листья — и так же тоскливо оцепенели в осознании неотвратимого ребячьей души.

В то же мгновенье над ухом Борового послышалось дребезжащее “вжик... вжик...” Краем глаза он углядел вереницу вылетающих из сарая ос. Но не было никакого смысла ни отстраняться от них, ни пугаться.

Охотник тоже заметил живой ручеек, вытекающий из-за уха одного из парней. Он невольно скосил на него глаза, палец на крючке замер. Ручеек растянулся в нитку, нацеленную на стрелка. Охотник сообразил, что это осы и что летят они на него. Он невольно отстранился, отпав от прицела.

— Разбегаемся! — тихо сказал Боровой.

Кинский тотчас же бросился за сарай. Боровой устремился было к домам, но, вспомнив о ружье, сделал округлую петлю и повернул к заплоту. Из отмахивающихся рук он выхватил ствол, разрядил его и, ударив об угол, швырнул через забор.

Оба парня быстрым шагом направились в поселок. Боровой, бывший в детстве начитанным ребенком, сказал:

— Гуси спасли Рим, а нас с тобой спасли осы.

— Ерунда, — отмахнулся Кинский. Он выпутался из очередной пердряги и был готов к новой. — Ты лучше скажи, как нас бить будут?

— Что мы, не отобьемся? — сказал Боровой.

— Отобьешься, когда на тебя ружье наставляют.

— Одно мы уже уговорили, — напомнил Боровой. — Тогда я сам этого Данилова бить буду, — пообещал Кинский.

— Зачем? — возразил Боровой. — Он свое получил. Слышишь, как стонет?

— Еще и от меня схватит.

— Как знаешь, а я бы не стал, — сказал Боровой. — Оса вон — и то зазря не кусает.

ЧУДЕСА С ДЕДОМ ДЯТЛОМ

Дед Евдоким Карпович Нестеров, по кличке Ночной Дятел, воскресным утром выехал со двора на санях.

Пиратку он с собою не взял, посадил на цепь, чтобы не увязался следом. Редкий случай, когда дед выезжал без собаки. В их неразлучной троице — кобылка Бегунья, волкодав Пират и отставной пастух Дятел — ведущую роль выполнял пес, опекавший как лошадь, так и хозяина.

Но сейчас Дятел ехал подкармливать фазанов, а егеря ворчали, когда видели возле питомника собаку.

Проводив недоуменным взглядом выезжающего хозяина, Пиратка рванул за ним, но, удержанный цепью, остервенело залаял.

— погоди, Пиратка, я обернусь разом, — пробурчал в оправдание дед, слыша с улицы голос собаки.

За деревней дед повернул на дорогу, ведущую между полями и дубовыми перелесками. Небо растекалось над ним чистой бирюзой, снега толстыми покровами устилали все видимое пространство. Дед щурил глаза от солнца, поглядывал на лошадь, коричневая шерсть которой уже убралась инеем. Мороз покусывал деду нос и щеки, а больше уцепиться ему было не за что: старик спрятался от него в высокие валенки, шубу из овчины, а уши меховой шапки свесил за воротник.

За одним из лесков дорогу деду пересекла вереница аэропортовских мальчишек, спешащих на лыжах в Ключевую падь. Дятел придержал лошадь.

— Здорово, дед! — приветствовали его пацаны, проскальзывая мимо. — Проверять едешь? Не пугаем мы твоих фазанов! Видишь, как далеко объезжаем!

— Так и надо, — одобрил Дятел. — А через дойки ездить нельзя. Егеря штрафовать будут.

— Из-за ваших фазанов нам что же — на дамбе не кататься?

— Зачем на ней кататься?

— Знаешь, какой там спуск!

— Да хоть и спуск, не положено: заповедное место!..

Мальчишки покатали на поле, лежащее выше летнего животноводческого лагеря, под опустевшими навесами которого по зимам устраивался фазаний питомник. Дойки едва виднелись снизу. Они стояли у края ложбины, куда сползал широкий покатый наклон. Ложбина западала в угол крутого взгорья, охватывающего ее с двух сторон, и была перекрыта дамбой, закрывавшей вход в канал Ключ-

чевой пади. Канал обступали горки, с которых ребята любили кататься и откуда их прогоняли егеря. Поэтому они ездили теперь в глубину пади, отыскивая там более или менее подходящие спуски.

Покончив с делами в питомнике, Дятел не захотел возвращаться кружным путем, а решил ехать домой вдоль автомобильной трассы. Попасть на нее можно было со взгорья, где стояло приземистое здание посадочной диспетчерской. Туда дед и направил кобылку.

Возле диспетчерской из аэрофлотовского уазика выгружались летчики, знакомые Дятлу по летним рыбалкам. Пилоты — два невысоких крепыша в форменных куртках и каракулевых шапках с золотыми кокардами — спустили на снег объемистый рюкзак.

— А это чем не транспорт? — воскликнул один из них, показывая на подъезжающие сани. — Привет, Карпыч! Подкинь нас до места!

Пилоты перетащили в сани тяжелый рюкзак и сами прыгнули на сено.

— Куда вам, ребята? — спросил Дятел.

— Погоняй, по дороге покажем.

Старик повез крепышей к садовым участкам, рассыпанным по взгорью с обеих сторон от диспетчерской. Пилоты направили его к деревянной избушке с печной трубой.

— Пойдем с нами, Карпыч, — позвали они деда, — разговеемся...

Дятел ослабил кобыле подпругу и бросил под морду охапку сена.

Пилоты растопили печку, составив на нее привезенные кастрюли с едой. В числе других припасов они извлекли из рюкзака две литровых бутылки самогону, домашние соленья, рыбные консервы и хлеб. “Куда как много”, — подумал дед и засуетился возле чайника. Но летчики чаем не соблазнились.

По первой и второй стопке Дятел шел вровень с мужиками, потом приотстал, более нажимая на разговор. Крепыши не обращали на его “философию” особого внимания и просто накачивались. Наконец, и они стали реже наливать в стаканы, хуже закусывать, сидели, навалившись на стол и лениво переговариваясь. Дятел все ж таки не утерпел, после чайку еще хватил самогону и затем почувствовал надобность выйти.

На дворе уже смеркалось. Дед потоптался на снегу, повернул, было, назад, но голова у него закружилась и, потеряв перспективу, он без памяти свалился в сани.

Услышав, что хозяин на месте, Бегунья стала ждать, когда он затащит подпругу, подправит гужи и возьмет в руки вожжи. Но ни-

чего этого дед не делал, и кобылка распорядилась собою сама. Знакомой дорогой она спустилась в ложбину, протащила сани мимо летних доек, обогнула дамбу и вошла в Ключевую падь. Что ее туда поманило? Вспомнила ли, как щипала тут сочную траву и пила из холодных ключей? Или, без понукания хозяина и опеки Пиратки, захмелела от воли? А может, подобно Дятлу, потеряла перспективу и заплутала? Она тянула и тянула сани по распадку, пока не распряглась — и тогда без угрызений совести пошла себе дальше. А сани остались под крутой скалой.

Дед очнулся от непонятого грохота. Открыв глаза, увидел полог неба — пронизанный звездами, он напоминал траченное молью сукно. Рядом шершавым боком поднималась скала из слоистых каменных пластов со снежными пятнами в выемках. На ее вершине виднелся сугроб. И этот сугроб шевелился! Причем не просто шевелился, а катался на выступах и гоготал при этом сквозным ревушим гоготом, уносимым как бы в трубу, потому что гудело и перекликалось одновременно во многих местах. Скала под буйным сугробом покряхтывала и приплясывала, колыхаясь каменным телом. К ее подножью с шорохом сыпалась отслоившаяся каменная шелуха, летели, разбиваясь в белую пыль, снежные комья.

Дятел озадаченно глянул перед собой. Бегуњи не было.

— Куда же я попал? — произнес он.

При звуке его голоса скала перестала колыхаться. Сугроб успокоился и разлегся на вершине, как лентяй на диване, подперевши ручищей обозначившуюся голову с рыхлыми чертами, кручеными усами и бородой.

— К нам ты попал, старик. Для приятной ночной беседы, — отозвался сугроб, показавшийся Дятлу змеем-искусителем, глядевшим на него туманно-синими соблазняющими глазами.

— Это преисподняя? — испугался Дятел.

Змей перебрал пухлыми пальцами пряди бороды и с укоризной проговорил:

— Будет тебе преисподняя, но зачем спешить?

— Так я еще не помер? — с надеждой спросил дед.

— К утру помрешь, — пообещал змей.

— Зачем мне дожидаться утра? Я встану и пойду, — поспешно сказал Дятел.

Змей с довольным видом округлил глаза:

— Как ты пойдешь? У тебя руки-ноги связаны.

Дед попробовал пошевелиться. В самом деле, тело у него окаменело. “Где Бегунья? Куда подевался Пиратка?” — забеспокоился он и вспомнил, что Пиратку, как на грех, он привязал дома. А Бегунья, вероломная кобыла, выходит, его бросила. “Пиратка б не до-



пустил”, — посожалел дед, размышляя о скорбном своем положении.

Но надо было выбираться, пока еще жив.

— Место будто знакомое, — проговорил он вслух, решив хитростью выпросить змея.

— Как не знакомое, — причмокнул змей пухлыми губами. — И бывал ты тут, и меня видал, и не признал ни разу...

— А давно я тут бывал? — опять схитрил дед Дятел.

— Я времени не подсчитываю, — уклончиво молвил змей.

— Хорошо, когда у тебя его много, а мне, ты говоришь, до утра осталось?

— Хи-хи-хи, — сипловато захохотал змей. — Ты тоже скоро считать перестанешь.

“Скалы тут, и будто расщелина, — соображал Дятел. — Вон как голос гуляет. Падь это, падь, но — какая?”

— Ишь ты, смешливый какой, — проворчал дед. — А мне, может, нравится мое время считать...

— И сколько же ты насчитал? — уточнил змей.

— Семьдесят три годика.

— Семьдесят три года не хитро сосчитать. Ты на сотни считай, на тысячи...

— Возрастом хвастаешь? — взгорячился Дятел. — Если б я тут не лежал, сколько б еще годков прибавил!

— Старый ты, дед, старый. Вот и места не узнаешь, — попенял змей.

— Я почти угадал, немного осталось, — сердито буркнул старик.

Змей загадочно глядел на Дятла, поглаживал бороду, накручивал на пухлый палец спиральный ус и будто вкладывал в свои действия потаенный смысл.

— Экая борода у тебя растопыренная, — заметил Дятел.

— На что похожа?

— На замерзшую воду, какая сверху льется. Постой, постой... Уж не ключ ли ты заледенелый? Разлегся тут, и бороду водопадом свесил... Выходит, я в Ключевую падь угодил? Как же это я сразу-то не узнал? Столько лет здесь пастушил! Водичку тут пил и домой брал. Качественная водичка, все равно как минералка. Ключевая падь! Ходы путанные, человек и скотина часто тут блукают. Кабы я мог идти, я бы отсюда выбрался. Все ходы знаю!

— Охо-хо, — вздохнул змей. — Что ты все назад просишься? Прописка у тебя тут постоянная, на вечные времена.

— Какая такая прописка?

— А вот подо мной, на скале, два словечка о тебе нацарапаны.

— Какие такие слова?

— А такие: “Дятел — козел”.

— “Дятел — козел?” Ишь ты! Подняться б да почитать.

— Со своего места читай.

Старик уже давно заметил, что зрение и слух у него во много раз обострились. Видит и слышит, как никогда. Причем во тьме видит все — и в натуральных красках. И расстояния как будто сблизились: звезды на небе до одной пересчитать можно, змей на вершине горы как на полатях видится. А звук сюда от самой деревни идет.

Надпись о себе Дятел выделил сразу среди других ребячьих каракулей. Ее насклеи на желтом камне, и она, как дорожный знак, при взгляде на нее высвечивается.

— Гляди-ка, не пожалели трудов! — усмехнулся он. — Козлом обозвали... Сами-то кто — козлятки?.. Созоровали, потому что на дойки их не пускаю, — объяснил он змею.

— Не так все просто, старик, не так все просто, — возразил змей. — Здесь судьба твоя начертана. Козлом у меня будешь.

— Козлом? — подивился Дятел. — Старый я для козла. Разве что бородой трясти, да ребятишек пугать?

— Телом ты старый, дед, а душа у тебя прыткая, на волю рвется. Будешь у меня по горам скакать, водичку из ключей пить. От дома недалеко. На вершину запрыгнешь, деревню увидишь.

— Чего ты, змей, над душой изгаляешься? — взбунтовался Дятел. — Для тебя, может, личину менять — плевое дело, а я из человеческого облика выходить не желаю! Шутки какие шутить вздумал! Закричу на весь белый свет, людей соберу!

— Кричи, кричи, до кого докричишься? — поддразнил змей. — Мы похлеще шумим, и то не слышат. И не змей я тебе, а дух горный, здешний хозяин. По моей воле все тут происходит.

— По мне хоть кто, а душу свою на глумленье я не дам. Подумаешь, руки-ноги связал, голос звучания лишил... Я внутренним голосом позову, он без крику идет!

— Есть у тебя кому твой зов принять? — насмешливо спросил змей.

Дятел смутился. В самом деле, кого ж ему позвать? Старуху? Она, может, услышит, всю жизнь ведь прожили, да что сделает? Повоет, попричитает, а в падь с больными ногами не побежит, куда ей! Дети его — два сына и дочь — семейные, отделенные. Души родные, но не близкие. Искать его будут, плакать над ним будут, хоронить будут, а зова его не услышат. Где им среди своих-то забот? Из близких у него кобылка Бегунья да пес Пиратка. Бегунья рядом была — не уберегла. Пес на цепи. Разве что старуха догадается, спустит? Все равно Пиратку звать надо, больше некого.

— Пират! Пиратка! — крикнул Дятел.

И тут же из темных заснеженных далей ответил ему залиvistый собачий лай.

— Правильно крикнул, — похвалил змей. — От моего предложения все-таки не отказывайся. Надумаешь, приходи. Добрым козлом будешь...

Облик змея затуманился, растворился, превратившись в снежную кучу на вершине горы. Глаза Дятла начали меркнуть, слух слабеть, навалилось бесчувствие.

Ожил дед от тепла... Вспрыгнув на сани, Пиратка лизал ему щеки, обдавал лицо жаром дыхания. Тепло растекалось по телу и ослабляло сжимавшие путы.

— Пиратка, прибег? — выговорил дед, с трудом размыкая губы.

Поворочавшись, он сел в санях, слепо вглядываясь в темноту, сквозь которую тускло высвечивал снег. Пиратка прыгал вокруг саней и звучно лаял, подвигая хозяина к жизни.

— Будем выбираться, Пиратка, — сказал дед. — Впряжемся вдвоем и покатым...

Он спустился на снег, проверил, что из упряжи уцелело. Пиратку прицепил к одной оглобле, сам взялся за другую. Парой они развернули сани и по следу двинулись назад, длинным извилистым коридором пади. Одолели его и вышли в синий простор, озаренный звездным сияньем. От летних доек начиналась дорога. Хоть и в горку, а двигаться по ней было легче, все ж таки под ногами твердый накат. Когда поднялись на взгорье, дед увидел, что в избушке, где кутили пилоты, по-прежнему горит свет.

— Стой, Пиратка, схожу, гляну, не случилось ли чего с мужиками...

Летчики все так же сидели за столом. Один из них уронил голову на крепкие кулаки. Другой разглядывал товарища хмельным неподвижным взглядом. Самогону еще оставалось половина бутылки.

— Где ты, дед, ходишь? Выпить не с кем, — упрекнул летчик вошедшего Дятла.

— Ты еще пить можешь? — спросил дед.

— На пару — могу, — обронил летчик.

— Сидите, пьете, и ничего с вами не сотворится! А меня чуть в козла не оборотили, — проворчал старик.

— Не бойся, дед, до самой смерти ничего не будет, — обнадежил летчик.

— Ну, давай выпьем, — согласился Дятел. Он разлил самогон и еще для опохмелки в бутылки оставил.

— Не знаю, за что ты будешь пить, а я — за свое воскресение и за Пиратку-спасителя.

Забив печурку дровами, чтоб мужики до утра не померзли, старик вернулся к саням.

— Согрелся, — сказал он собаке. — До дома теперь дотяну.

За посадочной диспетчерской человек и собака свернули на полевую дорогу, идущую параллельно автомобильной трассе и отгороженную от нее сосняком лесозащитной полосы. Когда они плелись вдоль утонувшего в снегу леска, пес вдруг яростно взвыл и, обернувшись, ощерился. Дед тоже оглянулся и даже рот открыл: позади саней шла Бегунья и невинно выбирала сено.

— Предательница! — закричал Дятел. — Завезла и покинула! Положиться на тебя невозможно! Становись на свое место, ленивка, нечего прохлаждаться!

Если хозяин ничем, кроме брани, кобылку не наказал, то Пиратка свирепо прыгал перед ее мордой, мстя за свое превращение в тягловую силу.

Оставшийся путь тройца одолела в привычном порядке: впереди выезда с грозным видом бежал Пиратка, за ним трусила Бегунья, а в санях восседал Дятел.

Так они въехали в деревню и скоро завернули на дятловский двор, где их встретила хозяйка, потерявшая покой с той самой поры, когда пес вдруг взвыл не своим голосом и заметался, обрывая цепь. А после того, как старуха его отпустила, перемахнул через изгородь и скачками помчался по улице. Ну, теперь, слава богу, все целы: и старик, и собака, и лошадь!

КРУГИ УДАЧИ И НЕУДАЧИ

Ранним июньским утром семья Ройко собралась на дальние огороды окучивать картошку. Отправлялись все врозь и разными транспортными средствами. Женщины — мать и дочь — выехали рейсовым автобусом и через пять минут высадились на нужной остановке. Сын Сергей вскочил на велосипед и по полевой дороге, огибающей пастбище, через пятнадцать минут добрался до места. Сергей был уже женатый и детный, жил отдельно, но огород держал вместе с родителями. Еще один Ройковский сын, Павел, сегодня дежурил в смене и на картошку не поехал. Глава семьи, Владимир Павлович Ройко, грузный и основательный мужчина, взгромоздился на самодельный трактор, который он собрал вместе с сыновьями. В этом механизме причудливым образом сочетались списанные детали авиационной и автомобильной техники и части, придуманные самим умельцем. Трактор появился в семье после того, как отец Ройко перенес сердечный приступ и врачи запретили ему подымать

тяжести свыше четырех килограммов. Самолюбие человека, еще недавно в одиночку выкапывавшего погреб, не захотело смириться с беспомощностью. Трактор, по его замыслам, должен был восполнить былую силу и скрыть от соседей нынешнюю немощь.

В продолговатой металлической тележке обычно умещалось все семейство. Клади поперек борта доску и садились. Но сегодня тележку слишком загромождали. Поставили в нее эмалированный бак с едой и посудой, флягу с водой, бросили кусок брезента, чтоб обернуть траву, которую накосят для кроликов, кинули туда же косу и другой садовый инструмент. Конечно, можно было сверху на доску сесть. Но семейство не захотело трястись по колдобинам, чтобы к тому же в ногах болтались черенки тяпок.

Несмотря на то, что трактор-колесник с рулевым управлением ударно тарахтел и, на посторонний взгляд, ходко бежал, он существенно отставал от Серегиного велосипеда. Сидение у него устроено на самой верхушке. Обзор с него дальний, при желании круговой, а при малой скорости еще и подробный.

Когда отец выезжал из-за крайних домов поселка, Серегин велосипед мелькал далеко на взгорке и через мгновение скрылся из глаз. Перед тем как пропасть за вершиной подъема, Сергей обернулся и убедился, что отец едет.

Трактор протарахтел вдоль ограды недостроенного стадиона, пересек бежавший в низинке ручей и начал карабкаться вверх. За густыми зарослями ветлы, обступавшими дорогу, с одной стороны прятались огороды, а с другой проходила автомобильная трасса на аэропорт.

На макушке подъема проселочная дорога отклонялась на поле, пропуская между собой и автотрассой лесную посадку. От этой лесопосадки в необозримую даль уходило совхозное пастбище. Две трети пути трактору предстояло огибать его. Чтобы зря не жечь горючее и спрямить путь, глава семейства въехал в траву, оставляя после себя две полосы примятого и темного от росы следа. В зеленом просторе трактор будто одурел от свободы и пошел забирать круче и круче в глубину пастбища, держа направление на гребень, помеченный телеграфными столбами. За столбами шел спуск в ложину, на дне которой, в отдалении друг от друга, располагались два животноводческих городка. Стада уже вышли из загонов и паслись наверху с той стороны ложины. Мимо одной из летних ферм галопом проскакал верховой, напомнивший отцу семейства всадника с папиросной коробки "Казбек"...

Из травы выглянула белая плоская шляпка гриба шампиньона. Ройко затормозил, всматриваясь перед собой и по сторонам. Из-за

одиноким грибом слезать сверху не имело смысла, но шампиньоны, как правило, растут семьями. И точно, рядом с первым грибом белел в траве еще один, за ним еще и еще. В конце концов Ройко охватил взглядом весь грибной круг, этакую белую проплешину в зелени.

Глава семейства спешил, срезал вынутым из бачка ножом ближний гриб, перевернул его на ладони, разглядывая нежную светло-бежевую решетку под шляпкой. Он и так не сомневался, что это шампиньон, и удостоверивался для порядка.

Основательным человеком Ройко слыл потому, что впереди любого дела пускал мысль. Он и сейчас не бросился набирать грибы в пригоршни, а потом уже думать, куда их сложить. Первым делом он приготовил тару, высвободив для этого двухведерный эмалированный бачок. Еду и посуду он сложил в углу тележки, принакрыв краем брезента. А потом пошел от гриба к грибу, подтаскивая бачок за собой, пока не выбрал круг. Посудина заполнилась на одну треть. Ройко облегченно распрямился — но увидел рядом точно такой же круг. Опять склонился, подрезая ножку за ножкой. Шампиньоны росли дружным племенем, словно красовались перед грибником. Ройко натрудил поясницу и не разгибался, чтоб ее не беспокоить. От сидения на корточках начало давить о себе звать прибалывающее колено. Ройко опустил его на траву и подволакивал следом за собой, опираясь на руки и здоровую ногу.

За вторым кругом открылся третий, за третьим — четвертый. Бачок наполнился. Ройко переложил со дна тележки на борта поперек кузова садовый инструмент и косу, раскинул по освободившемуся месту брезент, ссыпал на него добычу и пошел выбирать очередной круг.

Как ни оберегал он свою поясницу, она все равно занемела, не сгибалась, не разгибалась. Колено грыз изнутри неумемный червь. Грибные круги стлались и стлались, будто не было им конца и краю.

Куда ж другие грибники подевались? Целый поселок под боком, а никого нет. Ну, доярки, понятное дело, коров подоили и скорее к домашним делам, некогда им по полю шарить. Скотники без стада сюда не наезжают. А поселковые промысловики — что же они зевают? Весь грибной урожай целиком ему одному! Что это, нечаянная удача или наваждение? Может обман зрения?.. Но колено-то взаправду свербит, поясницу взаправду ломит.

Он не услышал бесшумно подъехавший велосипед, и голос сына грянул для него внезапно.

— Пап, мы тебя потеряли!

Глава семейства поднялся из-за трактора и, увидев, что сын заглядывает в тележку, затаенно спросил:

— Есть там что-нибудь?

— Есть, — сдержанно ответил Серега.

— Что?!

— Грибы, — невозмутимо сообщил Сергей.

— А много?

— Много.

Отец с облегчением выдохнул.

— Я думал, меня морочит. Режу, режу — и как во сне.

Он пересыпал из бака в кузов и сказал:

— Грибов тут море. Но я больше не могу. Собирай, если хочешь. Я следом на тракторе буду ездить.

У Сереги дело пошло быстрее. Он на слово не скорый, а на руку сноровистый. Отец успевал только разворачивать тележку. Сидел он теперь в удобной, не требующей движения позе, но боль в спине и колене не проходила. Сверху ему было хорошо видно, как белые, плоские шляпки настырно пробиваются сквозь траву, и этим упрямым головкам нет счету.

— Серега, может, бросим это занятие? Их тут не меряно, а нам уже хватит.

— Папа, в жизни бывает либо все, либо ничего, — глубокомысленно заметил сын.

Отцу этот довод показался убедительным.

— Ну, тогда собирай, сынок!

На брезенте насыпался курганчик бело-бежевых кругляшков, достававший верхушкой до края кузова. Серегина голубая рубашка на спине взмокла и потемнела. Парень вошел в раж и готов был собирать до упаду. Но грибы уже кончались. Когда не дождавшиеся мужчин женщины по траве прибрели к трактору, Серега добирал последние. Мать перебрала в кузове несколько шляпок. Одну из них надломила и понюхала.

— Люблю, как шампиньоны пахнут.

Глава семейства и Серега ждали от нее других слов. Но мать, из опасения испугнуть удачу, хвалить не спешила. Серега не вытерпел:

— Мама, ты когда-нибудь видела столько грибов?

— Нет, Сережа, не видела, — мягко ответила мать.

— Я тоже не видел. Мне и сейчас не верится, — зачарованно проговорил сын.

Отец повернулся к нему.

— И тебе, Серега, мерещится? А я думал, что мне одному.

Эти слова мать не одобрила.

— Что тут может мерещиться? Грибы и грибы!

— Мама! — воскликнула дочь. — Неужели тебе не понятно, что они у нас герои?

— Может, и не герои, но именинники точно! — поддержал ее отец. Вид у него был размягченно-благодушный, как у человека, подтвердившего звание главного кормильца семьи.

— Именинники! Вам же мерещится! — съязвила мать.

— Мама, тебе ничего не кажется особенным, — с некоторым разочарованием проговорил сын.

— Правильно, Сережа, не кажется. Что произошло, то и есть. Особенное оно или нет, как тут судить? Позавчера прошел дождь. Вчера и сегодня тепло, — оттого и грибы. Коровы ходят по той стороне — топтать некому. Люди огребают картошку — им сейчас не до грибов. Что росло для всех, досталось нам одним. Повезло по стечению обстоятельств. А “кажется” и “мерещится” здесь совсем не при чем.

Глава семейства слушал жену, наклонив к плечу голову и прищурив глаза, что у него означало неодобрение.

— Здорово ты рассудила, — поддел он. — Не от этого ли и грибы попрятались?

— Да, мама, — присоединился к отцу Серега. — Лучше бы ты нас похвалила. Мы все-таки старались.

— Ах вы мои грибнички-охотнички! На целую зиму запас сделали! — ласково пропела мать и, перейдя на серьезный тон, закончила. — А вообще-то, пора за работу. Солнце высоко, а мы за тяпки еще не брались.

— Залезайте в тележку, только грибы не помните. Доставлю вас с инструментом на место и свезу грибы домой, — сказал отец женщинам...

Поглядев, как домашние, разобрав тяпки, побрели к зелено-синим рядкам картошки, отец семейства повернул трактор к поселку. На этот раз он ехал окраиной пастбища по дороге. В голове его вращалась сказанная женой фраза: “Что росло для всех, досталось нам одним”. Эти слова неизвестно почему царапали его совесть, и он оправдывал перед самим собой собственную удачу”. “Если никто не пришел, зачем же добру пропадать? Удача на том и стоит, что доля всех выпадает кому-нибудь одному. Потому так редко везет, а иным — никогда в жизни. Удачу, какая она ни есть, ценить надо. Может случиться, что другого раза не будет”. Если б не женино замечание, он бы как на крыльях летел. А то — как занозу воткнула... Будто он взял и присвоил чужое. А он никогда в жизни на чужое не зарился, не завидовал, полагался только на то, что добыл собственным трудом. Грибы он тоже добыл сам. Поясницу до сей поры разламывает, а коленку надо будет лечить несколько дней. И

вообще, удача еще не счастье, а простое везенье. Счастье — это не только когда дается, а когда есть ответный рывок навстречу. Ну, как руки в колыбельку к ребенку протянешь, а он к тебе свои слабые ручонки тянет. Вот это счастье, полное и с отдачей. А у него нынче всего лишь нечаянный подарок судьбы. Так надо и понимать.

Не зря жена Владимира Ройко остерегалась гневящих судьбу высказываний и мыслей. Если бы муж внял ее опасениям, то, возможно, обезопасил бы себя от многих грядущих невзгод. Но он пустился в опрометчивые рассуждения и тем навлек на свою голову возмущение судьбы. “Если удача еще не счастье, — как бы сказала судьба, — то посмотрим, как будет выглядеть счастье без удачи!”.

В середине лета свинья Машка, выкармливаемая семейством Ройко для приплода, принесла одиннадцать розовых поросят. Радостное это разрешение месяца на три опоздало к базарному спросу. Ну кто в июле—августе купит на откорм поросенка? Глядя, как маленькие насосы качают из матери соки, хозяин мечтательно размышлял: “Было б заманчиво поднять их самим. Вопрос в том, хватит ли терпенья и корму?”

Для семейства Ройко настало время монотонно повторяющихся трудов, растянутых по всей долготе дня. Поросята росли ровно, один к одному, а Машка от материнских забот ободралась и охляла. Рыло ее вытянулось трубою, зад вобрался, бока опали, верхушкой частокола выпятился хребет. Хозяин прищуривал на нее глаза и думал: “Из Машки в этом году толку не будет”.

Надежды он связывал с молодой порослью и поэтому целых полтора месяца держал поросят у материнских сосцов, слегка прикармливая сочной зеленью и запаренным в виде кашицы концентратом.

Однако же драный Машкин вид заставил хозяина пожалеть и ее. Настал момент, когда он перекрыл дверной проем сарая дощатым барьером, огородив мать от измучившего ее потомства. Общение ее с детьми происходило теперь следующим образом. Мать выхрюкивала из своего закутка, а поросята визгливо отвечали ей из крытого навеса.

Как раз вскоре после свиного раздела оскорбленная в лучших чувствах судьба приступила к выполнению своего мстительного намерения.

Однажды супруги Ройко загостились у сватов в деревне и вернулись домой поздним автобусом. Небо затягивало черным ненастным пологом, быстро смеркалось. Глава семейства скоренько переменял штиблеты на сапоги и, дав жене отгул, один заспешил к стайкам.

Куры уже забрались в птичник и, рассевшись по насестам, спа-

ли. В их крытых кормушках еще оставалось зерно. Ройко подсыпал свежего — на утро. Кроликам требовалось задать работу на ночь: они с одинаковым аппетитом ели круглые сутки. Ройко натолкал в клетки заготовленной днем травы, налил в баночки воды, добавил зерна. Зверьки пугливо таращились, пуговичные их глаза вспыхивали рубином.

Заслышав хозяина, поросята подняли истошный визг, возмущаясь и жалуясь одновременно на задержку кормления.

При непрерывных сверканиях молнии Ройко надергал на грядках травы и с комьями налипшей на корневища земли покидал в стайки. Когда Машка и поросята с голодной жадностью все подобрали, зашел к ним с ведром вареного корма.

Гроза летела на скоростях. Высланные ею вперед холостые молнии-зарницы расстреливали небо световыми зарядами. Но вот слепящему полыханью начало вторить глухое урчание грома. Он, как пеший воин, вынужденный поспевать за быстроногой конницей, свирепел на бегу и злобно ярился. Его приближение делалось все ощутимее. Вот он взревел почти тотчас за молниевой вспышкой. Еще немного — и они ударят соединенно. Что станет с небом и что сделается с землей?

Наконец черная завеса треснула и из прорыва хлынул дождевой вал.

Если бы Ройко поторопился, он бы успел до дождя добежать до дому. Но он любил, закончивши дело, выкурить сигарету и поразмышлять об итогах. Кроме того, не в его натуре терять достоинство, хотя бы и перед стихией. Поэтому, когда хлестанул дождь, поросята толкались у хозяйских ног, с наслаждением вылизывая остатки варева, а сам хозяин стоял под навесом, пуская дымок от сигареты.

Дождь колотил в глухой угол сарая, где были кладовка для корма и поросячья кухня. В терраску сквозь открытый проем не заносило ни капли. Наевшись, поросята кучей малой повалились в угол терраски и, успокоенные присутствием хозяина, мерно посапывали. Ройко курил и ворочал в голове тягучие думы. Прикидывал в уме, сколько мешков комбикорма осталось в кладовке, хватит ли его до морозов, когда подойдет время поросят резать. Приплюсовывал к зерновому корму доспевающий в трех огородах урожай картошки, свеклы и тыквы. Все растущее и неубранное Ройко мысленно делил на две доли: себе и Сереге, ведшему самостоятельное хозяйство. Прокручивал в голове и такую возможность: как бы третью долю не пришлось выделять — средний сын надумал определяться. Если не пожалеть трудов, все выросшее убрать и пустить в дело — кормов для хозяйства хватит.

Ройко грезил великой надеждой перезимовать нынче на продукте с собственного двора. Эта надежда тешила его тщеславие как главного кормильца семьи. И вот, произведя мысленный смотр всему, что имелось в его владении, он остался доволен итогами. С подзадоривающим прищуром смотрел на белый кипень дождя — и мечта его расправляла крылья.

Выкурив свою сигарету и додумав свою думу, глава семейства покинул погруженный в безмятежный сон поросячий загончик и, накрывшись пленкой от парника, побрел по затопленной земле к дому.

Гроза пролетела вперед, и тяжелой трусцой следом за ней побежал гром. И вот, наверно, в тот самый момент, когда на взгорке Ройко преодолевал несущиеся навстречу потоки воды, счастье его с верхней отметки, означенной словом “все”, начало неуученный еще сердцем спуск до крайне нижней величины — “ничего”...

Этим летом свиней поражала неведомая и не поддающаяся лечению зараза. От нее у животных пропадал аппетит, слипались кишки и на шкуре выступали красные, синевшие затем пятна. Прививки не только не предотвращали эту болезнь, а даже отягощали. Помучившись, свиньи издыхали. Ветеринары советовали заболевших животных сразу же резать на мясо, есть которое, за исключением внутренностей, разрешали.

Эпидемия выкосила свиное поголовье в селе Игнатьево, ближних поселках и пожаловала в стайки аэропортовского городка.

Ройки уже копали картошку и убирали огороды, когда ни с того ни с сего перестала есть так и не оправившаяся после материнства Машка. Чтобы подстегнуть аппетит, хозяйева добавляли ей в корм и кисленькое, и сладенькое, плескали молоко, кидали на закуску сочный капустный и свекольный лист. Кое-что с вялостью и неохотой Машка поедала. Ветеринар посоветовал чушку зарезать, а поросят отселить.

Ройки медлили, надеясь уходом и кормлением выходить Машку. Сосед развеял и эту надежду, рассказав, как возил для своей больной чушки землю из-под орешника — и все равно она сдохла.

Машка, мосластая, тощая, с синюшными пятнами за ушами, ходила за хозяйкой по стайке и со стоном о чем-то просила. Наверно, она знала средство спасения от болезни и безуспешно объясняла это хозяйке.

— Ну, что, что тебе принести? — плачущим голосом повторяла хозяйка. — Ты только скажи, милая, я пойду и принесу.

Поросята жили теперь в другом сарае. Они ели и просили есть,

но были уже не так бодры. Настал день, когда хозяин обнаружил на их шкуре знакомые красноватые пятна, которые вскоре посинеют. С потерянным видом Ройко ушел из сарая и больше туда не ходил. Жена одна спасала хозяйство, как умела.

Дома, в любимом кресле, глава семейства выкурил несколько успокоительных сигарет, передумал несколько горьких дум и вслух объявил решение:

— Нет смысла переводить корм. Поросят надо резать. Вопрос в том, что делать с мясом?

— Я больное мясо есть не буду, — отрезала жена.

— Мы тоже, — сказали дети.

— А я буду, — уперся отец.

— Кто станет тебе его варить? — спросила жена.

— Если вопрос ставится так — сам буду варить! — не сдавался отец.

— А я не позволю пачкать кастрюли больным мясом!

О продаже свинины никто в семье и речи не повел. Ройкам совесть не позволяла предлагать людям то, чего сами есть не могли.

Глава семейства взял с собой сыновей, и они разом порешили все надежды, связанные с зимними заготовками мяса. Свиные трупы покидали в тракторную тележку, прикрыли мешковиной, и в тот же день отец свез безрадостный груз на совхозный скотомогильник.

Возвратившись домой, Ройко крепко выпил и, оглушенный произведенным собственными руками разором, недвижно сидел в любимом кресле.

— Ну, чего закручинился? — сказала жена. — Не человек же умер. Других поросят заведем.

— Я три тонны корму извел, душу положил — а в итоге семья без запаса осталась.

— Одно ушло, другое придет, — утешала жена.

Ройко загоревал всерьез и надолго. Руки ни за какое дело не брались, на хозяйственный двор не тянуло. С птичника криком кричал, зазывал петух, надрывно доказывая, что не все в жизни потеряно. “Я жив, и хохлаточки мои целы! Гляди, хозяин, какое племяросло!” Но хозяйское ухо петушиных криков не слышало: в нем нескончаемо звучал нетерпеливый поросячий визг.

Сентябрь одаривал солнечными улыбками, и вдруг одной ночью подморозило и посыпало снежком. Этот сигнал холодов поднял главу семейства из кресла. Настроение настроением, а у него картошка еще в подвал не стаскана. Не поторопишься — вымерзнет. Без мяса, да еще без картошки — это что за зима будет.

ДОЖДИ В ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

В летней комнате, за столом, у широкого, в три створки, окна вологодская бабка потчевала молоденького солдата. По местным обычаям в такой комнате, или, говоря по-другому, холодной избе, полагается пить чай и глядеть в окно. Но чай с сахаром нынче продукт дорогой, и бабка угощала гостя хмельным клюквенным квасом, серыми пирогами и ранней огородной снедью. В окно же ничего не мешало глядеть, но сами глаза в него смотреть не хотели. Там один дождь сменялся другим, изливаясь на раскисшую в кисель глину.

Улицы в этом северном городке никогда не мостились. Лесовозы, забредавшие в жилые кварталы, размолотили проезжую часть во всех направлениях. Выдавленные тяжелым транспортом борозды путались, переkreщивались, сходились и расходились как рельсы на железнодорожной станции. Грязь на улицах не просыхала до самых морозов, и только снег их разглаживал, ровняя колдобины.

Воинская часть, стоявшая в городке, только тем и занималась, что накатывала твердое покрытие на хлипкие жилки путей. Но усердие воинов на фоне болотистой необъятности оставалось каплею в море. Кроме того, тягучие глины рано или поздно заглатывали полотно кусками, образуя новые рытвины и ухабы.

Солдатик, угощавшийся у бабки, был одним из трех стройбатовцев, по весне выпрошенных ею у военного начальства для копки огорода. Двое других после отбились, а этот пристал к дому, по случаю заглядывал и помогал, чем умел. Сегодня он чинил электропроводку. Бабкин старик, по нездоровью не годный ни для какой работы, сидя на стуле, подавал команды, да умаялся и прилег в теплой избе отдохнуть. А работника бабка увела в летнюю комнату, посадила за стол и, угощая, расспрашивала о его доме.

Бабка была юркой, не худой и не толстой, живых еще токов, с мягкими чертами лица, голубыми глазами и седыми косицами, уложенными поперек головы. Когда-то это, видно, были косы, уложенные в корону, а сейчас из них получались две тонкие перетяжки.

У парнишки по припухшим от армейской каши и отбеленным северными ненастями щекам разлита нежная розовость. Волосы и брови, перестав выгорать, против обычного потемнели, под цвет карих глаз. "Не паренек, а картинка", — втайне залюбовалась бабка и пожалела, что не северной девушке этот чужедальний красавец достанется.

Однообразье погоды и жизни до смертной тоски надоели пар-

нишке, и он в ответ на бабкины расспросы распался себя воспоминаниями.

— У нас на Амуре солнце целый день над головой, в любое время года. Пасмурные дни наперечет. Если прольется дождь, вода сразу же впитывается в землю, и можно гулять в босоножках. Снегу у нас мало. Иногда, что нападает с осени, то и лежит всю зиму. На лыжи не во всякий год встанешь.

— Как так, чтоб не было снегу? — удивляется бабка.

— А так. Нету — и все.

— И земля терпит? — не укладывается в голове северянки.

— Она на два метра промерзает. И даже глубже.

— Что же потом на ней растет?

— Все растет, и побольше, чем тут. У нас даже арбузы и дыни успевают. Помидоры на грядке краснеют. Перец сладкий и горький, баклажаны, фасоль. Картошка в два кулака, не то что здешняя мелочь. Да все у нас против вашего в два-три раза крупней.

— А лес есть? — интересуется бабка.

— Есть, но не такой дремучий, как у вас. Вместо болот — мари.

— Что такое “мари”?

— Сырые места с кочкою. Но они людей не заглатывают, как ваши болота.

Ягоды дикой меньше, чем тут, а грибы всякие. И не водянистые, как у вас.

— Люди как там живут? — спрашивает бабка.

— Строятся совсем по-другому, чем здесь. Под одной крышей вместе со скотом не собираются. Для каждой животины своя стайка. Постройки по всему двору стоят. Дома, правда, не такие красивые, как у вас.

Бабка слушала, дивилась, но близко к сердцу не принимала, чтоб не закралось сомнение. Соображала, что парнишка по дому тоскует, потому и раскрашивает свою родину. Не бывает того, чтобы одна земля во всем была лучше другой. Ее предки, сколько тут жили, никогда северные места не хулили, а только похваляли: “Мы-то вологодские! Мы-то вологодские!” Вроде не такие, как все, а на особый манер. Правда, в своей собственной жизни бабка чаще встречала другие примеры. С их северной стороны уходили, и мало кто возвращался. Селились в иных краях, смешивались с тамошними людьми. У них появлялись ребятишки, такие же ладные и крепенькие, как этот паренек. В молодые годы бабка тоже ушла из родной деревни в райцентр. Но дальше уже продвигаться не захотела. Замуж за своего, деревенского, вышла. Они перевезли в этот городок доставшуюся в наследство избу. Детей у них не родилось, и всю заботу, силы и время они вложили в дом. Любили его и холили. В

благодарность за старания он их в старости тешит, много лет не требуя ремонта. Но бабка все так же над ним хлопочет: клеит, красит, белит, не позволяя чему-нибудь облупиться или поблекнуть.

Нет, много в рассказе гостя непонятного до интереса... И имя у парнишки ласковое, как у котенка: Тема, Темушка, Тимоша. По документам-то он Артем. Но бабка так его никогда не звала, обиходила малую форму. И всем другим паренек хорош. Даже солдатская одежда не огрубляет его нежного, незаматерелого облика. Бабка думает, захоти паренек в их городке жениться, под стать ему не скоро сыскалась бы пара. Их лесные невесты — наследницы выработанных тяжкими трудами семей, лучшие силы которых потрачены в предыдущих поколениях. Красавицы у них редки, как ясные дни среди ненастий.

— Тимош, а невеста у тебя есть? — любопытствует бабка.

— Есть.

— Красивая?

— Нормальная, — небрежно проговаривает солдатик.

“Не ценит, — смекает бабка, — наверное, все у них там такие, под ровень”.

Старуха вздохнула, сочувствуя обделенности своих землячек, и запоздало подумала, что, если бы в молодые годы она б не за однодеревенца своего пошла, а за пришлого чужака, а ее старик не на ней бы женился, а на какой-то иногородней, то у каждого из них дети, наверное, были бы. Знай она о том раньше, стала бы задерживаться в райцентре или бы дальше прошла? Наверное, не прошла бы. И старик не прошел бы, и другие тоже. Приговоренные они к своему месту, и к трудам, и к судьбе здешней.

Говорила ли, или размышляла старая хозяйка, сидя против молоденького гостя, но она не выпускала из внимания и улицу, где день и к обеду не вызрел, зачахнув в рассветной бледности, где верховодил дождь, и где под небесной крышей мокли и мокли дома, обитые узкой вагонной дощечкой и крашенные в желтый, красный и голубой цвета.

Солдатик смотрел в это же самое окно, и так ему не хватало впечатлений! Ну, пробежит по сырым мосткам какая-то баба. Тусклым глянцем отдадут резиновые ее сапоги, из которых тут не вылазят до снега. Ну, проползет по кисельной грязи грузовик, расплескивая переполненные лужи. Ну, отдастся гудком железная дорога, прорезающая городок насквозь. И ничего другого за целый день не случится!

А хозяйка в окно, как в телевизор, глядит, где для нее нескончаемый фильм крутится. Соседка бежит... По ее ходу бабка как по нотам читает. Ага, в магазин побегла по текущей нужде. А если б че-

сала так, что дым от сапог, значит в магазине чего-то дают и бабке тоже надо попроворнее выбираться. Грузовик прогнал... Время далеко за обед, значит домой чего-то повез. Что повез, за бортами не видно. Бабке и видеть не надо. Она вычислит по тому, где водитель грузовика работает и что ему для хозяйства нужно. Вся картина перед бабкой живая, да еще с детективным уклоном. Для солдатика же это чужая, скучная жизнь, край света, хоть и железная дорога насквозь проходит. Что она для него, если он по ней никуда съездить не может? Домой он тем же путем, как и сюда, поедет. Как ни крути, а для него это край...

С улицы над калиткой возникла мужская фигура в шляпе и темном прорезиненном плаще. У бабки на лице пробудилось оживление. Солдатик тоже залюбопытствовал: что же такое увидела старуха в окне. И тоже выглянул. Мужчина на улице заметил, что за ним наблюдают, приподнял в знак приветствия шляпу. Бабка ответно качнула головой и замерла в ожидании, отворит он калитку или мимо пройдет. Отворил и направился по настилу к крыльцу. Во дворе звякнула цепью собака, видно, на лапы поднялась. Но не залаяла. Так она и Артема встречает: проводит смирным взглядом и промолчит. Собаки тут такие же стеснительные, как и люди.

В боковое окно было видно, как гость поднялся на крашеное крыльцо — все здесь крашеное изнутри и снаружи, — отворил дверную створку (другая намертво схвачена сверху и снизу шпингалетами) и вошел в сени. Дальше уже Артем зрительно представлял, как гость внизу разувается, ставит резиновые сапоги рядом с кирзовыми солдатскими и в носках поднимается по чистым ступеням. И точно так, потому что шагов не слышно. На верхней площадке, на уголочке перед заходом в небольшой коридорчик, ведущий в жилые помещения, прибита деревянная вешалка. С нее уже свисает солдатский бушлат, и прорезиненный плащ повиснет рядом, а шляпа на полочку ляжет возле солдатской фуражки. И в этом представлении Артем не ошибся — гость появился в летней комнате без плаща и шляпы, в синем пиджаке поверх клетчатой рубашки. В плотных фабричных носках нудно-серого цвета.

Выглядел он лет на 45-47, чернявый, прямоволосый, с темным, словно еловая кора, лицом. Были у вошедшего и особые приметы: нос высокий, будто на дыбки вставший. Впечатление, что владелец носа принохивается, настораживается, не верит.

— Мир дому честному! — громко проговорил гость. — Здравствуйте, Елена Тихоновна! Доброй службы, солдат!

— Здравствуйте и вы, Юрий Онтипыч! — с серьезностью ответствовала бабка Елена.

— Как здоровье Павла Семеновича? — продолжал церемонии гость.

— Да какое у него здоровье, Юрий Онтипыч! Как было, так и есть, — вздохнула хозяйка.

— Где ж он скрывается?

— Спит... Вот, с Тимошей проводку чинили — умаялся. А вы к нему?

— Хотел совета спросить, — уклонился от объяснения гость.

— Присаживайтесь, Юрий Онтипыч. Кваску отведайте.

Гость от предложения не отказался, подсел к столу, и бабка налила ему кружку кислого напитка.

— Пойду гляну, не проснулся ли Павел Семенович, а вы, Юрий Онтипыч, поговорите с Тимошей, помощником нашим, — сказала бабка и вышла.

Гость скосил на солдата птичий, без выражения, глаз. Вздыбленный его нос при этом подозрительно принюхался.

— Тимофей, значит?

— Артем.

— А по фамилии?

— Седов.

— Что же ты, Тимофей, делать умеешь?

— А что надо?

— Телевизоры чинишь?

— Телевизоры не чиню.

— Жаль, — произнес Юрий Онтипыч и более о ремеслах не спрашивал. Остальные умения его, видимо, не интересовали.

— Откуда ж ты родом?

— С Амура.

— Далекый парень, — покачал головою мужик. — Нравится тебе у нас?

— Что тут хорошего? От одних дождей осатанеешь...

— Дожди кончатся, — пообещал Юрий Онтипыч.

— Ага, кончатся, когда снег выпадет, — съязвил Артем.

Но мужик на поддевку не обратил внимания. Его занимали свои соображения.

— Жаль, что у нас не поглянулось. Свежие ребята нам надобны, чтобы женились, накапливались и расселялись по нашей земле. Районы мы коренные кое-как держим, а на деревню мощей не хватает.

— Сами же из нее бежите, — заметил Артем.

— Бежим, — подтвердил мужик. — Прорех кругом много, а силушка убывает.

— А зеки? Мало ли их подвозят?

— Этот народ для нас нежелателен. Он тут не укореняется, а людей наших портит.

— Да весь ваш городок из поселенцев составился!

— Поселяли, верно, да кто ж из них тут остался? Чуть выйдет срок, дома бросают и бегут. Нам вольные люди нужны, которые добром пожелают тут жить, — проговорил Юрий Онтипыч.

— А работа у вас есть, за которую будут платить? — с ехидством спросил Артем.

— Работы полно.

— Дармовой — полно! А за какую платят — еще поискать надо! Нас целую зиму не могли пристроить — никому рабсила не требовалась. На Дальнем Востоке, когда у нас БАМ строили, со всех концов народ ехал, потому что за работу платили. И хорошо платили. Будут деньги — люди приедут!

Чернявый мужик задумался, отвернулся к окну, словно там что-то вынюхивал и, видно, нашел, потому что вновь закосил на Артема птичьим взглядом.

— Деньги, конечно, нужны, — спокойно проговорил он. — Только не всегда от них польза. Государство хотело Нечерноземье поднять, а не подюжило. Как ты думаешь, почему?

— Не хватило финансов.

— И это, — согласно кивнул Юрий Онтипыч. — А еще любви и терпения. Что такое наша земля, когда лес с нее снимут? неплодородное место! Вот и пускают ее, как пустыню какую ненужную, на всякие секретные объекты: полигоны да космодромы. Слышал, небось, чем Север наш начинили? Спаси и помилуй нас от таких денег.

Вернулась бабка и объявила, что Павел Семенович проснулся.

— Ему самому сюда выйти или вы к нему пройдете? — спросила она гостя.

— Сам пойду, — поднялся мужик. — Мне с ним с глазу на глаз переговорить надо.

Перед тем, как выйти, он обернулся к солдату:

— Не горюй, мил человек, что издалека к нам привезен. Народ мы один, а земля наша вологодская по молодой силе тоскует.

— Кто это? — спросил у бабки Олены Артем.

— Юрий-то Онтипыч? Уличный наш сосед. За два дома перед нашим живет. Как пойдешь, приглядишь. У него изба по северным законам роблена. А сам он механиком на лесозаводе. Вагонную доску нарезают. К моему старику за наукою ходит. Павел-то Семенович, когда в здравии был, много чего умел.

Бабка уставилась на паренька голубыми глазами, спросила:

— Что, звал оставаться?

— Намеки делал.

— И оставайся, Тимоша. Видишь, какие люди кругом — научить хорошему могут.

— Я домой хочу. Со страшной силой, — мечтательно произнес Артем.

Дождь за окном объявил передышку. По времени день перева-лил на вечер, хотя так же насупленно он будет глядеть далеко за полночь, потому что стоят белые ночи.

Артем простился с хозяйкой и направился в свою часть. Сапоги его разъезжались на осклизлых досках мостков-тротуаров. По пути он разглядывал дома — самое интересное, что тут на севере есть. И чего с ними так выставляются? Каждый хозяин на собственный ма-нер ставит, да так отделяет, чтоб на соседский не походил. Прав-да, если повнимательнее присмотреться, все они по одним правилам строены. Эти всеохватные крыши в два или три ската. Эти мелкие, без ставен, оконца, врезанные высоко над землей и обязательно с крайней в ряду, полуторной по ширине, рамой летней комнаты. Это непременно для всех обшивка узкой вагонной дощечкой, которая охватывает строение целиком со всеми углами и заворотами. Эти глубокие сени со створчатыми дверями наружу и множеством раз-делений изнутри на чуланчики и кладовки. Эти светлые горницы-залы в домах, с лакированными полами, узорными обоями, убран-ные, как в музее. Эти громоздкие русские печи, где выпекаются разных родов пироги. И если все у них одинаково, то почему же у каждого оно так не похоже? А потому, что единые для всех правила каждый на свой вкус комбинирует, изошряется. Но так только на окраинных улицах, а центр такой же невыразительный и казенный, как везде.

Дождик, передохнув, припустил с новой силой. Артем спрятался от него под навесом городской бани. Доставая из пачки сигарету, услышал:

— Тимох, дай закурить!

Васька, местный парень лет двадцати пяти, тоже пережидал тут дождь. Зимой он кочегарил в котельной по соседству с их частью, и Артем с товарищами бегал к нему мыться. Это очень выручало, по-тому что в городскую баню их водили после помывки гражданских, и всегда чего-нибудь не хватало — то воды, то тепла.

— Слушай, Тимоха, — заговорил Васька, раскуривая одолжен-ную сигарету. — Заедь ко мне с краном. Мне поднять кое-что нуж-но. Я дом строю.

Артем недоверчиво покосился на тщедушного парня. Ему каза-лось невероятным, что поразительной красоты дома ставят такие вот невзрачные с виду мужики. Но вслух он спросил о другом:

— Зачем тебе строить, когда брошенных сколько угодно?

— Свой дом — своя судьба! — многозначительно молвил Васька.

— Ладно, заеду, — согласился Артем. — Как дожди кончатся, приходи на хлебозавод, мы там крышу меняем.

— Дожди кончатся! — обрадованно пообещал Васька.

“Как они все в это верят?” — подивился Артем. Сам он на это не надеялся. И словно доказывая, что дождь ни за что не переждать, выскочил под монотонно секущие струи.

ВЕЧЕРКА

Слесарь котельной дядя Саня Кочетков наращивал в квартире Красновых батареи отопления. Когда дело было закончено, хозяин Геннадий Краснов, работающий пенсионер, мужик еще крепкий, с густою седою гривой, тяжелым сложением и приволакивающий в ходьбе ногу, позвал мастера угоститься. А так как его старуха следом за мужиками затеяла приборку, пригласил слесаря в сараюшку, спрятанную за высоким забором на краю двора.

И вот под вечер дядя Саня Кочетков в чистой голубой робе, с тряпичным свертком под мышкой показался между сараями и металлическими гаражами. Мужики, вечно возившиеся возле своих будок, сразу смекнули, зачем дядя Саня заявился в этот край, тогда как его огороды лежали совсем в другой стороне. Смекнуть смекнули, но виду не подали, провожая бесстрастными взглядами воздушную походочку Кочеткова и размышляя над тем, что у него под мышкой и куда он свернет. Ага, за высокий забор к Красновым. Тогда надеяться не на что. Краснов — мужик прижимистый, угощает строго по приглашению. Прикинули так не слишком занятые умы и снова уткнулись в разобранные механизмы.

У дяди Сани было две не так чтобы уж прочно прилепившихся к нему клички: Незабудка — за внешнюю хрупкость и неприметность и Озон — за то, что когда дядя Саня здесь, то его как бы и нет, а когда его в самом деле нет, то без него чего-то и не хватает.

Под мышкою дядя Саня нес обернутую в ткань балалайку, о существовании которой мало кто в поселке ведал. Да и сам дядя Саня относился к ней с неровным влечением. То надолго забросит — жена знай с нее пыль вытирает, а то из рук не выпускает, одиноко наигрывает, уединившись от домашних и тем более от посторонней публики. А в этот день за работой у Красновых он нечаянно проговорился, что знает новые частушки. На этом признании Краснов

его подловил, пристал и пристал, чтобы прихватил инструмент в сарайку.

Там, где за бутылочку садятся двое, непременно прилепится третий. И точно, не успели разлить по первой, как в проеме двери выросла узкая фигура соседа через сарайку Алексея Самсонова. То ли он видел, как дядя Саня входил в калитку, то ли интуиция навела, только Алексей угодил в самый момент — и на месте преступления, что называется, накрыл, и ни граммчика не выпито еще. От соседа и высокий забор не укроет.

Делать нечего, посадили с собой Алексея Самсонова и ему налили. На дворе август последними днями исходит, огороды от урожая ломаются, была бы выпивка, а о закуске вопроса нет.

Краснов — хозяин расчетливый, не зря о культурной программе вечера заботился, дядю Саню об инструменте просил: всего-то одну бутылочку на угощение, жила, выставил. Два раза по кругу сходили — и нет ничего. Пьян не пьян — слегка навеселе.

— Сыграй, Александр Иванович, — не тратя времени даром, обратился к гостю хозяин.

— Да, сыграй, — подхватил Самсонов, уважающий всякую компанейность.

Играть вышли в тесный дворик. Кочетков уселся на лавочку спиной к сараю. Самсонов, так как был глуховат, примостился возле него. Краснов занял место напротив на сложенных штабелем у ограды досках. Высокий забор был прикрытием сбоку.

Дядя Саня ударил по струнам, разминая пальцы и разгоняя звук. Алексей Самсонов лихо вскинул голову, которая раньше славилась курчавым чубом и горбатым носом, Геннадий Краснов започкачивал вялой ногою, которую в ходьбе приволакивал.

Дядя Саня прослушал звучание балалайки, остался доволен и встроил в ее лад свой голос.

Эй, фарца, давай менять.
Только, чур, не мухлевать.
Кому шило, кому мыло,
Кому так твою мать.

Эх-ма, шустро, шустро, шустро,
Обшустрили, господа!
Эх-ма, пусто, пусто, пусто,
Обобрали, господа!

Голос Кочеткова негромкий, но внятней, и в золотой умиротворенности вечера глубоко проникает. Услышав его, мужики у гара-

жей встрепенулись, повели головами в сторону красновского забора. Некоторые даже поднялись и, подойдя, заглянули через верх вовнутрь двора.

Дядя Саня сделал длинный проигрыш и снова пустил голос:

Нынче “ходям” здорово —
Свободный ход по городу.
Ходи, “ходя”, погуляй,
Чего надо выгладай.
Эх-ма, шустро, шустро, шустро...

Глазеющие по верх заборов поощрительно хмыкали, подбивая музыканта шпарить дальше. Дядя Саня и сам загулял — не остановишь:

Я с китайцем торговал,
Все с себя я отдавал.
Два кармана жвачки —
Зато раздет до срачки.
Эх-ма, шустро, шустро, шустро...

С ближних огородов начали выходить люди. Женщины, пришедшие следом за мужьями, садились на кучу свай, сброшенных по ошибке возле красновского забора и позабытых тут на многие годы. От домов поселка поглазеть на скопление народа бежали ребяташки. Дядя Саня передыхал на проигрыше и снова выбрасывал куплет:

“Жигули” и “Волги”
Нынче очень дороги.
Нафарцую “бабки”,
Махну на иномарке.
Эх-ма...

Самые непоседливые из мальчишек лезли по сваям, как по пирамиде, а достигнув вершины, перебирались на забор, а с него — на черемуху. С высоты им видна становилась вся картина по ту и эту сторону изгороди. Перекликаясь и галдя, ребяташки забивали своими криками пение. Взрослые шикали, осаживая их прыть, а дядя Саня сыпал дальше:

В огороде упирал,
Урожай сосед стаскал.

На совесть что теперь давить,
Надо силу применить.
Эх-ма...

После каждого четверостишия дядя Саня не забывал про припев. Но слушающие повторов не осуждали. Для них лишь бы играла балалайка да летела частушка. А ломкий фальцет Кочеткова забирает куда сильнее, чем профессиональное пение с магнитофона.

У дяди Сани полный карман куплетов.

Говорят, пора кончать
За наши души отвечать.
Это надо понимать,
Разрешают выпивать.
Эх-ма...

Мужики дружно поддакнули:

— Так, Саня! Под корень руби, чтобы ухнуло! — При этом они жестами подсекали воздух и тыкали кулаками в забор.

Геннадий Краснов скоро понял, что перехитрил самого себя, собрав народ возле своей сарайки. Мужики, того и гляди, ограждение повалят, а ребяташки черемуху поломают. Он молча грозил пацанам кулаком и предостерегающе позыркивал на мужиков.

Частный сектор расширять,
Землю людям отдавать.
Ну, а воздух — это сами
Расхватываем мы горстями...
Эх-ма...

У женщин, сгрудившихся в проулке за сваями, заприплясывали ноги. Можно было б дать им волю, да где там музыкант? Чего прячется за забором? Мужики да ребяташки еще чего-то видят, а им только звук достается. Кто ж это играет? Кочетков? Который Кочетков? Из котельной? Пронзительно забирает! Кабы еще плясака задать.

Словно отвечая женщинам, дядя Саня завернул частушку:

А я малый не простак,
Я не дерну вам за так.
Кладите отступного —
Рвану за будь здорово.

— Отступного ему, — загалдели женщины. — Пусть на люди выходит!

Дядя Саня вывел припев, сделал короткий проигрыш и загасил звук.

— Сыграй еще, Саня, — стали просить мужики.

— К нам выходи, к нам! — закричали женщины.

Решительная Лерка Кулибаба, работавшая когда-то массовиком-затейником на речных теплоходах, потеснила мужской ряд, просунулась в калитку и поставленным голосом произнесла:

— Александр Иванович! Выйдите на улицу. Женщины желают вас видеть, да и сплясать охота.

— В самом деле, на улицу, на улицу. Там просторнее, — засуетился Краснов, поймав повод прилично выставить музыканта и обезопасить забор.

Он проворно вытащил из сарайки табуретку, установил ее с наружной стороны забора и сам стал на часах перед калиткой. Мальчишек же окриком согнал с черемухи, мужики потеснились без уговоров. Успокаиваясь, Краснов тер носовым платком взмокший загривок.

Дорога против красновского забора расступалась, давая сюда выход со двора аэропортовского городка. На этой площадке бывшая массовичка начала наводить порядок. Она выстроила наблюдающих кружком, образовав перед музыкантом пустое пространство. Дядя Саня на публике петь застеснялся и только наигрывал, не щадя пальцев.

На вольное место выдвинулась широкая жена Самсонова Валентина с красивым русским лицом, обрамленным волнистыми русыми волосами, свернутыми на затылке узлом. Валентина топнула крепкой ногой, притопнула еще и звучно огласила:

Где юг, где Кавказ?
Я не ездила ни раз.
Что я, бабы, потеряла?
Я кавказца здесь видала!

Ее муж Алексей Самсонов, сухой и поджарый, прошелся в пляске перед Валентиною, глуховато выкрикивая:

Моя милка говорит,
У нее живот болит.
Небось, в ее животик
Забрался обормотик.

Отговорив частушку, он с круга не ушел, продолжая топтаться в ожидании подмоги. Из зрительского окружения по-соседски к нему выпорхнула пригожая невестка Суриковых. Чернявенькая молодайка раз и еще раз выбила дробь прямыми, как у козочки, ножками. Звуку из-под ее мягких туфель не вышло никакого, но отстучала она правильно. И где только обучилась, ведь гулянок, подобно этой, в поселке еще не бывало.

Заявив о себе таким образом, молоденькая соседка зашвырнула в честной мир свою частушку:

Девки там, да девки тут,
Девки ходу не дают.
Все равно же я пойду,
Дорогу к милому найду!

Она снова козочкой отстучала дробь и пошла с прискоками по кругу. На перепляс к ней вышло сразу трое мужиков, а на подмогу им несколько женщин. Мужики, дробя, наступали, расставив, как для ловли, руки. Женщины, кружа, увертывались. Пляшущие закрыли собой музыканта, но балалайка звенела не умолкая. Кто стоял близко к дяде Сане, видел, как лукаво взблескивали его зрачки в узком прищуре глаз.

Алексей Самсонов до того расчувствовался, что выдал еще куплет:

Девушки, лебедушки
Вскружили мне головушку.
Землю перестал топтать,
Стал по воздуху летать!

Широкогрудый и широколицый молодец со светлыми кручеными усами, гультками свисавшими до подбородка, не выдержал и с места надал густым баском:

Встречай, милка, встречай, лада,
Я привез тебе усладу.
Не конфеты и не сахар,
Самогонный агрегатор.

И-и-эх, — выдыхала гулянка. И-и-эх, — притопывали башмаки. И-и-эх, — вскидывались вверх и разлетались в стороны руки.

С нижних огородов на взгорок поднялась Аннушка, горластая, лихая бабенка в белом платке и белой, облегающей полные плечи, футболке. Она сходу подбросила жару:

Растуды, моя кручина,
Растуды, моя печаль.
Вчера мила проводила,
А мне нисколечко не жаль!

Зычный Аннушкин голос достал до всех домов аэропортовского городка и на Кукуевский поселок ушел. Девкою Аннушка горланила частушки в родном селе Игнатьеве. В замужние годы на ее талант спроса не стало. Жизнь шла в перебранках с детьми и мужем, в скандалах из-за очереди в магазине. А как, оказывается, хорошо отвести душу складной припевкой, лишь бы она к месту слетела.

Из своего огорода на гулянку смотрела обессиленная годами баба Соня Заварская. В красном халате, седая, коротко стриженная, одною рукой она опиралась на клюку, другою вытирала слезы. Нынешнюю осень ей уже не пережить из-за выгрызавшей ее болезни. Но пока она была жива и теперь плакала благодарными слезами, что не дал господь помереть, не увидавши веселия народа... И покуда дядя Саня играет, стирая в кровь пальцы, до тех пор и будет гомонить, и петь, и плясать вечерка...

ШАШКИ

В огородах покраснела вишня. Деревца — где в густой сыпи, где в толстой шубе плодов. Урожай небывалый. Ребятишки шалеют от вида ягоды на ветках, и никакими силами от огородов их не отогнать, напролом лезут, хоть из ружья пали. Хозяева снимают ягоду недоспелой, чтобы совсем урожая не потерять, иначе ребятишки с ветвями пообломают, не уследишь. Только Красновы выдерживают вишню на выспев. Бабка Краснова с утра ведро наберет — и на рынок, а ягоды еще столько, что будто совсем не рвали. Ребятишки вокруг да около бегают, а подступить не могут. Дед Краснов сутками из огорода не вылазит. Ночью с клюкой между деревьями бродит, а днем, подпершись той же самой клюкой, за шашками сидит, сам с собой играет. Осоловел от скуки и одиночества, но упрямо кругляшки перед собою толкает.

Сергея Муха не выдержал и вместе с Олежкой Дозором напросился к деду на шашки. Краснов сначала хотел пугнуть ребят, но, подумавши, смилостивился, запустил во двор, — чтоб только у стола, перед его глазами стояли, ждали, когда он доиграет начатую

партию. У его отвислого пуза выстроены были черные, а напротив — белые. Дед явно благоволил к черным. Его рукою они бойко шерстили позиции белых. Хотя и своим любимцам дед вроде не давал спуска: иные из них тоже слетали за край доски. Муха вызвался сыграть белыми, сострадая им, как терпящим бедствие. Дед не позволил вступать, держа ребят на роли болельщиков, а чтоб им не прискучило, начал проговаривать вслух мотивы некоторых своих ходов.

— Эта голубушка посидит в “сортире”, — сказал он, загоня одну из черных шашек в тупик.

— А зачем? У нее другие возможности есть, — вступился за потерпевшую Муха.

— Пусть отдохнет! — самовластно постановил дед — и обнес несчастную двойной стражей.

Муха наморщил лоб, соображая, для чего деду такие пустые ходы.

Пока дед громоздил загородку перед пленницей, на позиции белых создалось выигрышное положение. Две наступающих черных оказались без прикрытия — и стоявшая перед ними белая двойным прыжком могла их заглотнуть, тем более, что ход принадлежал белым. Дед заметил опасность и молчком отвел белую шашечку в сторону, подставив ее под удар черных.

Муха не выдержал и снова вмешался:

— Так нечестно! По правилу она должна есть, а если она не ест, ее надо взять за “фук”.

— На что мне твой “фук”? Ее и без него съедят, — сказал дед и проглотил белую шашку черной.

— Это не по правилам! — взвился Муха. — Белая должна остаться на доске и играть! Если бы она съела две черных, у нее бы открылся путь в дамки!

— Все правила тут мои, — заявил дед.

— Тогда это уже не игра, а какие-то поддавки в свою пользу, — презрительно сказал Муха.

Мясистое лицо деда набрякло, мохнатые брови углом надломались, и на мальчика бурависто глянули мелкие голубоватые глазки.

— Не видишь разве, что я один за двоих играю? Потому и правила все мои.

— Но вы же не сами игру придумали, вы готовую взяли, — зудел Муха.

— Зачем я тебя такого впустил? — подсадовал дед.

И тут на стороне Краснова неожиданно выступил приятель Мухи Олежка Дозор, для которого не интересная вначале игра приобрела вдруг заманчивый смысл.



— Чего ты, Серега, цепляешься? Одни дураки играют по правилам. В жизни, кто делает игру, тот и законы устанавливает.

— Именно, — поддакнул дед, проникаясь доверием ко второму парнишке.

Дозор уловил это и хитроумно принялся его расспрашивать. Муха слушал их, изумленно округлив глаза.

— В дамки вот эта черная пройдет? — указал Олежка на провавшуюся вперед шашку.

— Может эта, а может и не эта, — уклончиво молвил дед.

— А тогда какая?

Со строптивым парнишкой Краснов и объясняться б не стал, а перед понятливым раскрылся.

— Сейчас погляжу.

Он обвел придирчивым взглядом позицию черных и ткнул пухлым пальцем в затертую среди других шашку, положение которой не имело никаких преимуществ.

— Теперь вы станете расчищать для нее дорогу? — спросил Олежка Дозор.

— Верно, — кивнул дед.

— А у белых-то дамка появится?

— Из белых не удостоится ни одна! — отрезал дед.

Муха морщил лоб и пялил глаза на обоих.

— Как вы их выбираете? Они же все одинаковые, — пытал Дозор.

— В том-то весь смак. Они одинаковые, а судьбу я им делаю разную!

— С людьми вы так тоже можете? — круто повернул разговор Дозор.

Дед полыхнул из-под бровей настороженным взглядом, но доверился:

— С людьми дело сложнее. На них власть нужна или сила. У меня власти никакой, из силы — одна эта клюка. Разве что смекалкой на простачка...

Олежка больше ничего не спросил, раздумывая над чем-то. Муха тоже смолчал. Дед продолжил игру при полном невмешательстве зрителей. Облюбованная стариком черная шашечка беспрепятственно прошла все подставы, сделалась дамкой и, притко носясь по доске, посшибала кучу белых. Черные одержали блестящую победу, при этом запертая в “сортире” шашка так оттуда не вышла.

Дед самодовольно поглядел на зевак и предложил Мухе:

— А теперь давай сыграем по правилам, строптivec.

— По всем правилам? — уточнил Муха.

— Ну, пускай будет по всем, — благодушно уступил дед.

Они расставили шашки, разыграли, кому какими играть. Мухе выпали белые, и первый ход принадлежал ему.

— Ты будешь судьей, — сказал Муха Дозору.

— Чего ему возле нас торчать? — возразил дед. — Пусть лучше ягоду ест. Поди, паренек, подкормись.

Муха, собиравшийся уже сделать первый ход, беспокойно заерзал, оглядываясь, так как красновский сад лежал у него за спиной.

— Не ходи, Олег! — сказал он приятелю.

Дозор, направившийся было к деревьям, в недоумении остановился.

— Чего сбиваешь? Пусть идет! — шикнул дед на Серегу и поощрительно закивал Олежке. — Иди, паренек, иди! Товарищу тоже нарвешь.

Дозор стронулся с места.

— Не ходи, Олег! — во второй раз предостерег Муха. — Не видишь, что ли, он в нас, как в шашки играет: кого в сортир, а кого в дамки.

Дозор с неохотой обернулся: оба игрока смотрели на него, как на сообщника. Помешкав, Олежка выбрал все-таки друга.

Увидев, что мальчик поворотил назад, Краснов вскочил с сидения и, взмахнув клюкой, свирепо пригрозил Мухе:

— Ну-ка, поди со двора, а то как приложу цепком!

— Знаете, что за это бывает? — предупредил Муха.

— Скажу, что собственность защищал. Собственность ныне превыше всего.

— Превыше человека? — спросил Муха.

— Говорю, что превыше всего! — запалился дед, но клюку все-таки опустил, так как долго без опоры стоять не мог.

— Вот обчистят ваш сад, тогда увидите, кто превыше, — пообещал Муха.

— Ладно, уходи по-хорошему, — отступил дед. — И чтоб я тебя возле своей ограды не видел! А ты, — обратился он к Дозору, — можешь остаться. Тебя не гоню. Ешь вишню, как разрешил.

— Нет, дед, я пойду с ним, — отказался Олежка. — Когда не по правилам играешь, проигрывать не положено. А ты проиграл.

— погоди, я по-иному схожу, — спохватился дед, заважав мальчиков. — Возьму и сызнава вас позову. Скажем, сначала вишня, а потом шашки. Или сначала шашки, а потом вишня — как пожелаете.

— Честно? — спросил Муха.

— Честно, — заверил дед.

Серега секунду посоображал, глядя себе под ноги, потом повернулся к приятелю.

- Тебе, Олег, сначала что — вишню или шашки?
— Вишню, — выбрал Дозор.
— Мне шашки, — сказал Муха и обратился к Краснову. — А тебе, дед, что?
— Мне? — встрепенулся старик. — Шашки, конечно. На что мне вишня? Глаза на нее не смотрят!

БЛУЖДЕНИЕ ДВУХ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН ПО ЦВЕТУЩЕМУ САДУ

Марина Седова вернулась с работы. В квартиру она внесла сумку с продуктами, усталость и желание отдохнуть. А встретили ее невымытая посуда, грязные полы и разбросанные по комнатам вещи.

— Да что же это такое! — с рыданием воскликнула Марина.

Была она полнеющей пятидесятитрехлетней особой в очках, с остатками рыжины в забеленных возрастом короткостриженных волосах.

Если бы Марина в самом деле расплакалась, то обида на домашних, сваливших на нее всю нудную работу, протекла бы у нее со слезами, и она смиренно принялась бы за уборку, как поступала всегда. Но рыданья, прозвучавшие в голосе, не смягчились влагой, а выпарились гневом, который погнал ее вон из дому. Даже не поев, только переодевшись, она ушла в огород и села там под цветущими деревьями.

Участок Седовых крохотным лоскутком врезался в коллективное огородное поле, раскинувшееся за общим двором поселка. Огороды здесь стали закладываться с заселением первого многоквартирного дома. Кто из жильцов сколько смог разработать, столько и занял. Но со временем огородников прибавлялось. И если поначалу каждый выбирал себе место, то приехавшие позже брали то, что осталось или было брошено другими. Так составила обширная коллективная усадьба с тесно прилегающими друг к другу участками, с хозяйственными постройками, проволочными и деревянными ограждениями, с кольцом дорог, что проложились будто сами собой.

Устраиваясь прочно и надолго, люди сажали деревья, которые с годами разрослись, поджали огородные грядки и превратили огородное поле в сад. До нынешней весны этого превращения никто не замечал — некогда было: за работой следовала работа, знай поспевай управляться. А нынче все кончилось. Сказано было: участки не засаживать, земля отводится под новостройку. И вот теперь, когда взгляды всех поневоле сделались праздными, люди увидели, что огород стал садом, и это открытие их не обрадовало.

Марине, сидевшей на краешке заброшенного парника, открывалось охваченное цветеньем пространство. Почему-то все деревья и кусты зацвели одновременно. Даже сирень раскрыла грозди вместе с черемухой, и ее резкий запах перекрывал все остальные. Груши обнесли себя букетами крупных соцветий, пронизанных сердечками молодых листьев. На вишнях трепетала розовая дымка. Сливы растянули на ветвях ажурные накидки. Черемухи истекали белизной, словно на каждую было опрокинуто по бочке густоразведенной извести.

Обида на домашних у Марины прошла, но душа не успокоилась, а наполнилась чувством горечи, вины, собственной беспомощности. Марина не помнила такого буйного цветения в прошлые весны. Может, оттого, что не присматривалась: в эту пору она никогда не сидела в огороде без дела. И сейчас ее руки просили работы, душа маялась, а деревья словно глядели на нее с удивлением и укором. Ей было стыдно перед ними. Они оказались заложниками людского непостоянства. Догадываются ли они об этом? Не оттого ли так буйно цветут, призывая людей опомниться? А может, вкладывают в цветение все силы, зная, что плодам уже не бывать. Не сегодня — завтра все они упадут под ножом бульдозера.

Чтобы не сидеть совсем уж без дела, Марина прогулялась до грядки с луком-батуном, пощипала зеленых перьев. Со своего участка ее увидела и окликнула, зазывая в гости, сердечная приятельница Саша Ройко.

На огород к подруге надо идти через три деляны. В прежние годы, чтобы не подныривать под проволоки, Марина ходила в обход, окружной дорогой. Но теперь большинство оград было убрано, и она без препятствий прошла напрямую.

Подружка Саша поджидала ее за высоким штабелем досок, сложенных на краю участка под высокой черемухой. Саша была ровесницей Марины, тоже перешагнула за пятьдесят, но обходила приятельницу по полноте, а также по рыжине волос, которые она красила в багрянец. На огороде Саша оказалась по той же причине, что и Марина: сбежала отдохнуть от забот по многочисленному семейству.

— Смотрю вот на все и плачу, — пожаловалась Саша. — Так неохота съезжать!

Постройки Ройковской усадьбы были уже установлены на тракторные сани и готовы к перевозке.

— Когда повезете? — поинтересовалась Марина.

— Завтра, если трактор дадут.

Приятельницы сели у штабеля досок, лицом к некопаному огороду с рядком идущих вдоль участка фруктовых деревьев.

— Нет у меня надежды на новое место, — говорила Саша. — В прошлое лето у нас там картошка полностью вымокла — даже копать не стали. Нынче, я думаю, будет не лучше. А этот огород никогда нас не подводил.

— Я помню, у вас тут трактор по кабину увяз, — заметила Марина.

— Это когда было! — отмахнулась Саша. — В самом начале, как разрабатывать стали.

— Ну так и там разработаете, землю подымите.

— Не на теперешний возраст новое начинать, — вздохнула Саша.

— Сыны помогут.

— У них свои хозяйства.

На соседской деляне пришлый мужик ковырял землю, выискивая червей.

— Вон кому повезло — рыбакам. Копайся, где пожелаешь, — глядя на мужика, сказала Марина.

— Скоро и для них тут лафа кончится.

— Это верно, — вздохнула Марина. — Все бульдозер сровняет. Через год-другой никто и не поверит, что здесь были сады. Одна жизнь затрет другую. И всегда так бывает, а мы-то думаем, что новое на пустом месте рождается...

Саша, не любившая отвлеченных разговоров, противоречия ради возразила:

— А мы-то сюда как раз на пустое место пришли. Кроме бурьяна, ничего тут не было.

— Да нет, — задумчиво покачала головой Марина. — Было тут что-то и до бурьяна, а бурьян прикрыл — и следов не осталось...

Саша, не слушая ее, размышляла, чем она завтра будет кормить семейство. Из старых запасов все надоело.

— Не знаешь, — оборвала она рассуждения подруги, — где здесь крапива растет? Щей бы зеленых сварить для разнообразия.

Марина, поправив очки, обескураженно поглядела на нее, с неохотой возвращаясь от философских тем к бытовым. Неуверенно проговорила:

— Где-то я видела целые заросли, а у кого — не помню.

— Пойдем поищем, — Саша поднялась. — Так хочется свеженького поесть.

В одном из готовых к перевозке сараев женщины нашли рабочие рукавицы, взяли ведро и направились на поиски.

На участке Топорковых горел костерок. Перед отъездом на новое место Нелли Топоркова избавлялась от ненужных вещей. Бро-

сив в огонь одиночный суконный сапог с дыркой на пятке, она пожаловалась подошедшим женщинам:

— Барахла много, а выкинуть нечего! Была помоложе — только так со старьем расправлялась. Чуть что вид потеряло — на помойку его! Бывало, одно выходное в шкафу останется, в огород выйти не в чем. Теперь уже осторожничаю: и то жалко, и это... А по сути, рухлядь плодим!

Голос у Нелли высокий, на пронзительных нотах. Сама гладкая, плотно сбитая. Летом, когда в огороде до трусов и лифчика разделется, да если к тому же загорит, становится похожей на очищенную фасолину.

— А мы ничего не выбрасываем, все с собой повезем, — отозвалась Саша. — Я уже изучила: как что-нибудь выбросишь, оно тут же понадобится. Ругаешь себя потом...

— Ну нет! — возразила Нелли. — Я пока еще за собой слежу, а то погрязнешь в старье, как в дерьме.

Женщины снисходительно промолчали. Нелли была лет на десять моложе их, и они ей прощали незрелость взглядов.

Марина глядела на залитый закатным золотом сад и думала: “Молодость расточительна, старость прижимиста, в средние года крайности уравниваются. А что уравнивает расточительность цветения этих деревьев, если у них уже не будет плодов?.. Может, новая жизнь, которая придет им на смену?..”

— На новом месте снова соседями будем, — сказала Саша.

— Да, опять на один пустырь съезжаем, — усмехнулась Нелли.

— И опять за собой стройку притянем, — неожиданно вставила Марина.

— Да ну вас, не накаркайте! — встрепенулась Нелли. — Здесь мы вон сколько лет сидели!

— Не то время. Сейчас за землей гоняются, а мы опять ее под поселком берем.

— Как будет, так и будет, а лично я надеюсь, — с ноткой отчужденности проговорила Нелли.

“Она не один еще переезд выдержит”, — подумала, глядя на нее, Марина.

— У вас крапива растет? — спросила Саша, имевшая привычку самое существенное вставлять в разговор как бы вскользь.

— Крапива? — Нелли пожалала округлым плечом. — Травы-то хватает, а вот крапивы что-то не видела... Да нет, нету, точно. Мы из ранней зелени только ревень растим.

Женщины расстались с Топорковой и по разгороженным делянам пошли дальше. Так они ступили на участок Ладыгиных. Сама

Ладыгина была на огороде, накрывала парник широкими, хорошо просушенными попонами из старых одеял, пальто и шинелей. Каждую тряпицу Ладыгина встряхивала, внимательно изучала изъяны, а затем набрасывала на покатуую раму, затянутую полиэтиленовой пленкой, и аккуратно расправляла. Сосредоточенная на своем занятии, она не сразу заметила подошедших женщин. Ради вежливости оторвалась от работы, но вид сохранила занятой, показывая, что на долгие разговоры ей отвлекаться некогда.

По возрасту Ладыгина была чуть старше Марины и Саши, но статностью фигуры и волевым выражением худощавого лица выгодно отличалась от своих расплывшихся соседок. На цветастое ситцевое платье у нее была накинута чистая голубая куртка из грубоватой робы, высветленные красителем волосы стянуты белоснежной косынкой. Они обе невольно подтянулись перед ней. Поздоровались.

— Продолжаете пользоваться? — с одобрением сказала Саша, кивнув на парник, одиноко стоящий среди опустевшего участка. Ладыгинская рассада показалась ей сильнее своей, хотя и своя была неплоха. Как ни старайся, всегда найдется человек, который тебя перещеголяет. Марина тоже заглянула в парник и тоже подивилась мощной рассаде, но со своей и сравнивать не стала, так как не чувствовала за собой дара огородницы.

— Да вот, решили, что успеем рассаду-то вырастить. Здесь подручней, ближе, — проговорила Ладыгина своим тихим, но твердым, внушающим почтение голосом. — Мы отсюда все уже вывезли, даже вон землю соскребли. Только стол да рассадник остались.

— И деревья, — добавила Марина.

— А что деревья? Им тут уж и быть... Вон, черемуха-то, — Ладыгина повернулась к могучему, в несколько стволов, дереву, под которым стоял стол, сбитый из крепких досок, — ишь как разрослась! На пол-огорода тень отбрасывает. Мои мужчины сколько раз собирались ее обкорнать, да рука не подымалась. Ужинали мы под ней. Вечерком, бывало, с такой приятностью посидим. Родня навестит, сыны со службы нагрянут — все здесь и здесь...

Маринин участок был почти рядом с Ладыгинским, и ей частенько приходилось видеть эти вечерние застолья. Они были по преимуществу мужскими, с одной лишь женщиной — самой хозяйкой. Несмотря на многолюдье и шумность, семейство держалось замкнутым кланом, а роднение в нем шло по мужской линии: дядья, братья, сыновья, племянники.

— На новом месте ужинать в саду уже не получится, — посожалела Ладыгина. — Не с руки с кастрюлями в такую даль таскаться. Забыть придется о старой привычке.

Сказав это, Ладыгина будто подвела итог всему, в том числе и разговору с соседками.

— На вашем участке есть крапива? — спросила Саша.

— Да вы что! — удивилась Ладыгина. — Мои мужики бурьяна в огороде не потерпят!

После таких слов женщины в смущении удалились.

На своей деляне путешественниц дожидалась старуха Шипова. Она видела, как женщины разговаривали с Ладыгиной, и подумала, что они несут новые вести про строительство и огороды. Шипова стояла за ограждением — пожалуй, единственным, еще не снятым, — и женщины, подойдя, оставались отделенными от старухи проволокой.

Участок Шиповых был вытянут в длину и четко разделялся на три части. Первая, наружная, выходила железным забором на спускающуюся от поселка дорогу, служила хозяйственным двором и была заставлена добротными постройками. Вторая часть была огородом, как и у всех сейчас, невозделанным. Третью, заднюю и самую короткую, занимал густой, разросшийся сад.

Их удивило, что у таких предусмотрительных и крепких хозяев, как Шиповы, не видно никаких приготовлений к отъезду. В саду не выкопан ни один куст смородины, у сарая мирно пасутся куры.

— Вы разве не съезжаете? — спросила Марина.

Шипова, ожидавшая вестей, сама оказалась перед необходимостью отвечать на вопросы.

— Наш сарай пока не попал под снос, еще на год его оставляют, — с неохотой объяснила она.

Женщинам все стало ясно. У Шиповых — большого и разветвленного семейства — мужских рук на любую работу хватало, причем таких рук, которые управляли разной мудреной техникой и в мгновение ока могли не то что сарай — дворец с места на место переставить. Командовали же в семействе женщины, и они, видимо, выжидали: если повезло с сараем, не повезет ли и с огородом — хотя бы с его частью?

Старухе Шиповой было около семидесяти. На ногах она еще крепко стояла, только плечи осели да волосы побелели. Даже остатки былой красоты на лице удержались. А красива она в молодые годы была чрезвычайно. Под черными, в прямой разлет, бровями — синие с поволокой глаза, как два омота. Красоту ее видели все, а сущность характера представляла загадку. Жизнь она прожила за мужем беспокойным, человеком ухватливым и неумным. Всегда на переднем плане он да он. Машиной везет, на хребтине прет, в руках тащит. А она позади и молча. Потом он умер, но семья про-

должала управляться сильной рукой, и возникла догадка: а не ходил ли этот безудержный человек под тою же самой рукой?

Поняв, что новых вестей она не получит, а сама может стать предметом расспросов, Шипова сослалась на дела и ушла к сараю. Саша даже не успела спросить ее о крапиве.

На верхних огородах, примыкавших к поселковому двору, маячила одинокая женская фигура. И, как ни странно, занималась тем, что копала землю: отчетливо выделялся на общем фоне темный, влажный лоскут взрыхленной почвы.

Этот участок принадлежал малосемейной жительнице поселка Надежде Тонких. Единственный сын Надежды, выучившись на стороне, там же и укоренился, а муж, хоть и оставался при ней, но был настолько хвор, что огород посещал в редких случаях, и то с целью прогулки. Надежда одна хозяйничала на своем участке. Но зачем она сейчас его вскапывает? Неужто и ее деляна не попадает под снос? Женщины направились к ней, чтоб узнать.

Надежда Тонких оправдывала подаренную мужем фамилию и в шестьдесят с лишним лет почти ничего не весила. Втыкая вилы в землю, она вставала на них и повисала всей малой массой своего сухонького тела. Издали казалось, что она вспархивает, как подраненная птица, и не может взлететь. Но таким манером она прошла уже две трети деляны.

— Много вскопали! — оценила ее работу Саша.

— А я не спешу, — улыбнулась в ответ Надежда. — Как приду, так помаленьку прибавлю.

Она устало оперлась на длинный черенок вил.

— Не думаете, что напрасно? — спросила Марина.

— Думаю, конечно, да не могу себя пересилить.

Надежда прямодушно смотрела на них голубыми, не выцветшими с возрастом глазами. Ее седые брови пушились, щеки, обожженные первым весенним загаром, румянились, выступавший бульбочкой носик несколько упрощал общую миловидность ее облика.

— Не могу от земли отвернуться, — продолжала она. — Двадцать пять лет ее ковыряю. Она ко мне привыкла, я к ней. Как это враз оторвать? Она же зовет!

Марина, вроде уже пережившая точно такие же чувства, но сумевшая их пересилить, смотрела на Надежду с уважением.

— И сажать будете?

— Посажу, сколько успею.

— А как все разворотят?

— Пусть. То не мой ответ, то чужой ответ. А покуда земля на мне, я за нее отвечаю.

— Столько пустого труда! — покачала головой Марина.

— Кто его знает — пустого ли? Я домой приду, у меня руки гудят-гудят, а на душе тихо-тихо. Значит, я правильно делаю!

— А земля здесь мягкая, не то что у нас внизу. — Саша ковырнула носком некопанное место.

— Еще бы! — подхватила Надежда. — Старичок мой, пока в способности был, столько тележек палого листа сюда вывез! За четверть-то века мы земельку в пух разделали!

— Я и говорю, что мягкая! — продолжила свою мысль Саша. — По-хорошему, ее бы соскрести да перевезти на новый участок.

— Кому соскребать? Кому везти? — округлила голубые глаза Надежда. — Мне бы хоть тут-то до конца додержать, а за новую я и браться не буду. Отошло мое время.

Надежда увидела, что солнце садится за горизонт, и заволновалась.

— Ой, сейчас темнеть начнет, а я деда еще ужином не кормила. Пойду. Завтра, может, докопаю...

Огород у Надежды чист, как стеклышко. О крапиве они и спрашивать не стали.

Надежда ушла по меже, таща за собою вилы. В коротенькой темной юбке, в розовой кофточке, в косынке, прятавшей седину, она напоминала девочку-подростка, но возраст выдавали сухие жилистые ноги, знававшие грузы потяжелее, чем ее невесомое тело.

— Я, кажется, вспомнила, где есть крапива, — сказала Марина. — Прошлой весной за сараем у Заварских видела целые заросли.

По линии верхнего яруса огородов женщины прошли к дальнему краю, где, охваченный бело-розовой пеной, стоял сад Заварских, тихий, задумчивый, будто ждущий хозяйку, которая умерла минувшей осенью.

Подруги поискали за постройками у изгороди, но вместо крапивы нашли молодые кустики чистотела.

— Он, наверно, все и вытеснил, — с огорчением заметила Саша.

Им не хотелось больше никуда ходить. Они сели на лавочке, где любила сживать умершая хозяйка сада тетя Соня Заварская. Отсюда, с верхнего угла, просматривалась в меркнувшем свете вся территория коллективного поля, все это белое кипение весны и жизни.

— Тети Сони не стало, и сада не станет, — вздохнула Саша.

— Теперь его и сторожить некому, — тихо отозвалась Марина, вспомнив, как старая хозяйка частенько ночевала в саду.

Женщины примолкли, глядя, как сумерки перемешивают краски, сводя их в единый невыразительный тон.

Похоже, что, кроме них, никого в садах не осталось. Костерок Топорковых погас, и дым от него развеялся. Рыбаки, накопав червей, разбрелись. Те из хозяев, у кого тут были дела, до потемок их переделали, а иные из них давно не навещали свои участки.

Женщины сидели, убаюканные угасающим вечером и покоем. Но вот из глубины сада повеяло чем-то тревожным — будто ледяная волна пробежала. Сердца женщин заломило-заломило — то ли от холода, то ли от непонятного страха. Птицы, устроившиеся было ночевать на деревьях, переполошенно сорвались с ветвей и понеслись прочь из сада. Женщины проводили их недоуменными взглядами. Затем им показалось, что за деревьями кто-то ходит, мелькают какие-то тени. В быстро густеющем сумраке, где-то будто под Ладыгинской черемухой, вспыхнул огонек.

— Что ж там такое? — настороженно всматриваясь, тихо сказала Саша.

— Мужчины Ладыгиной собрались на прощальный ужин, — пошутила Марина и тут же осеклась: что-то зловещее висело в воздухе, что не располагало к шуткам.

— Нет, не Ладыгины, — серьезно ответила Саша. — Свет неживой, с зеленью.

Марина присмотрелась: и правда, неживой свет, как от гнилушек, только сильнее.

Просветы меж деревьями начало заволакивать не то туманом, не то дымом, все закрывая мутной стеной. Хождение по саду не прекращалось. Из-за деревьев, прямо против сидящих на лавочке женщин, вышла незнакомка в зеленом платье с белыми рукавами, смуглая, со скрученными на затылке волосами, с суровым и сумрачным выражением лица. В руке она держала опущенный книзу дымный факел. Седая коса от него струилась и плелась по земле.

Увидев притихшую парочку, незнакомка строго спросила:

— Что вы тут так поздно?

— Мы садом любимся, — растерянно объяснила Саша.

— На что он вам? Вы, люди, его бросили.

— Мы не сами. Нас заставили, — как маленькая, оправдывалась Саша. Марина молчала, замороженно глядя на незнакомку, чье зеленое платье сливалось в сумерках с весенней травой.

— Ступайте, женщины, по домам, — холодно молвила незнакомка. — О деревьях есть кому позаботиться.

Они встали и пошли прочь не оглядываясь...

Когда к огородам подъехала машина с охотниками прибраться к рукам, что еще годилось в хозяйстве, весь сад уже затянуло белой пеленой.

— Что за чертовщина! — выругался, выйдя из машины, мужик. — По одну сторону дороги сплошняком туман, а по другую — абсолютно чисто. Как специально сады спрятали!

Он шагнул было в туман, напоролся на невидимый в белой мгле столб, вскрикнул от боли и повернул к машине.

— Мотаем отсюда. Ни хрена тут не возьмешь.

А светлым и радостным утром весь сад предстал людским взглядам черным, обугленным — и раздетым, как в зимнюю стужу. Странно так заморозок прошел: нигде ничего не задел, только этот сад, на снос предназначенный. У Ладыгинах, к счастью, рассада уцелела, тепло была укутана. У Надежды Тонких под прикрытием сарая розовым облачком трепетало одно вишневое деревце. Во всем остальном — был сад и нету. Как груз с души сняли... Неизвестно только, на чью перевесили.

КОРОВЬИ САПОЖКИ

К Симуковым на шестнадцатилетие сына Алеши приехали из города родственники и привезли в подарок туфли. Светло-коричневые, матовые, легкие, как ореховые скорлупки — настоящие корочки, иного слова не подберешь. Алеша примерил их и тотчас же из лапчатого гусенка превратился в стройноногого молодца.

Гости уже сидели за вытянутым по длине залы праздничным столом, и, когда Алеша показал себя в обнове, неспешно прохаживаясь перед ними, дружно крутили следом за пареньком головами и наперебой расхваливали подарок.

— Дай-ка я посмотрю, что за штуки такие, — сказал отец и, взяв в руки снятую сыном туфлю, принялся вертеть ее перед глазами, изучая заделку и выделку, точно собирался все повторить. Потом, ухватив туфлю за носок, несколько раз ударил ее подошвой о ребро стола, будто сухую тарань отбивал. У присутствующих дыхание от волнения свело. К счастью, испытание обнова выдержала: подошва не треснула, каблук не слетел, даже вмятины на месте ударов не образовалось. Но отец нашел-таки к чему прицепиться.

— Не для наших ног, не для наших дорог, — произнес он, возвращая имениннику подарок.

Застолье пошло своим чередом. Но когда желудки отяжелели, а языки развязались, об обнове в другой раз заговорили.

— Бареточки, скажи, красота! — приставал захмелевший даритель к загрузневшему хозяину. — С парнем-то что сделалось? На-

дел — и ног под собою не чувствует. Во, как заграница умеет!

— Еще бы носились, — с сомнением пробурчал Симуков.

— Почему не носиться? Эдакие пух-перо, не ходить — летать можно! — нахваливал даритель.

— Да Лешкина нога в три дня твою заграницу пропорет и на расейскую землю вылезет, — пообещал хозяин. В трезвом сознании таких слов он бы не сказал.

Даритель обеспокоился.

— Ты, своячок, уж последи, береглись чтоб. На выход или куда... Изделие тонкое, нежное.

— Если в помещении будет ходить, еще подержатся, а на улицу выйдет — за сохранность не поручусь, — заводил Симуков родственника.

— Нехорошо, своячок, подарок не уважать, — расстроился даритель.

— А как уважать? Под стекло положить, на красоту любоваться? Так Лешка не выдержит, тайком на ногу напялит.

— Круто, зятек, берешь “тпру” сказать не успеешь, — встряла в разговор задетая пренебрежением к подарку жена дарителя.

— Чего меня осаживать, до краю еще далеко, — раззадорился хозяин, и, цыкнув на толкавшую его в бок жену, пустился во все тяжкие: — Есть у меня одна мысль — на Лешкиной ноге рекорд поставить. Больше месяца ни одна обутка на ней не живет. Хотелось бы такие сшить, чтоб сносу не было.

— Сам, что ли, шить будешь? — не понял родственник.

— Да хоть бы и сам, — произнес роковое слово хозяин.

— Станет ли парень носить самоделье? — засомневался родственник.

— Настрою — и будет, — заверил Симуков.

— Не верится что-то, — уедал родственник.

Хотели о том у Алеши спросить, да парнишки давно за столом не было, снашивал на дворе очередную обувь.

Жена Симукова воспользовалась заминкой и взяла управление столом на себя.

— Поговорили и довольно. Давайте теперь споем, — и первой, увлекая за собою гостей, затянула “Калину красную”.

Симуков осел, понурился, молчком опрокинул в себя пару стопок и ушел спать в крепком подпитии.

Утром он проснулся с тяжестью в голове и с нехорошим чувством на сердце.

— Что вчера было? — сумрачно поинтересовался он у жены.

— Что было? — зашипела сторожко жена, так как часть гостей ночевала в квартире. — Стыдобы наделал и спрашивает! Не по-

мнишь разве, как ты подарок моей сестры охаял? Расхвастался, что лучше сошьешь.

— А гости что сказали? — пытал муж.

— Ничего не сказали, видят, что человек врет.

— Я вру?

— А то кто? Будто ты когда сапожничал.

Симуков не ответил, входя в обычную свою молчаливость, но обвинение в том, что он расхвастался, а люди ему не поверили, гвоздем засело в его мозгу.

Это правда, что Симуков ни разу еще не сапожничал. Но он выделывал шкуры, шил шубы и вообще был способен ко многим ремеслам, как бытовым, так и техническим. Иной раз ему хватало разгадать принцип, чтоб повторить то же самое.

В скором времени сват в деревне зарезал быка. Симуков погулял у него на свеженине, прикупил для семьи мяса, а заодно выпросил у свата с бычьих ног шкуры. Дома последовательно вымочил их в двух растворах, обернул для отжатия влаги в тряпицы и уже напеременки с Алешей сушил-мял шкуры между двух досок, орудуя, как толкушкою, третьей. А затем шкуры отскребали, а после снова мяли-вытягивали уже руками. А когда они выделались, стали мягкими и податливыми, как замша, он раскроил их, соединил разрозненные части швами и натянул на колодки. А дальше, ни долго ни коротко, пошла нанизываться вся прикладная оснастка. Проклеивался и вставлялся подклад, вшивался с боковой стороны замок-молния, лепилась утепленная войлоком резиновая подошва. Сапожки получились невысокие, как раз под брюки, с желтовато-белым солнечным ворсом, с просторным нутром. Алеша надел их, и они на его ноге распластались, вернув парню сходство с лапчатым гусенком. Под оценивающими взглядами семейства Алеша прошелся взад и вперед по комнате, сообщил, что сапоги не жмут и не давят, что ногам в них тепло и удобно.

— Носить будешь? — пристрастно спросил отец.

— Буду, — пообещал Алеша.

— Перед дружками не застесняешься?

— Что б я стеснялся?

— Сапожки хорошие, — вставила слово мать.

— А ты говорила, что я вру, — ехидно припомнил отец.

— Не сказала б — и шить бы не стал, — отмахнулась она.

— Что верно, то верно. Кабы не на спор, ни за что бы не взялся.

Канительное занятие, — признался отец.

В обнове Алеша вышел во двор. Ребята, его сверстники, сидели в беседке, взгромоздившись на высокий барьер, а ноги спустив на скамейку. Заметив Алешу в новой обуви, они оживленно загалдели:

— Идет!

— На коровьих ногах!

— На бычьих, на бычьих!

Алешины сапожки в ходьбе посверкивали, как желтый глаз светофора.

— Дай поносить, а? Ну, дай! — застонал, ломаясь на публику, Коля Ворота.

Алеша вошел в беседку и сел, как и все, на барьер, а ноги спустил на скамейку. Ребята сосредоточенно разглядывали обнову в готовом виде. В деталях они ее уже видели, бывая у Алеши дома. Некоторые из них даже с интересом следили за продвижением работ. Алеша не замечал, чтоб во дворе о сотворении сапог судачили, а тем более насмешничали. Конечно, когда сапоги обносятся, до них никому не станет дела, но сейчас их репутация зависела от всякого невзначай брошенного слова. Алеша опасался категоричного суждения ребят, хотя и не подавал виду. Чтобы они ни сказали, он все равно сапоги носить будет, потому что дал отцу слово, но, если осмеют, делать это придется без желания.

Молчание оборвал Антоша Бодров, фатоватый одноклассник Алеши. Он кивком указал на выставленные, как на витрине, ребячьи обутки и на вклинившиеся в нарядный и пестрый ряд “коровьи” сапожки.

— Посмотри, что у всех и что у тебя?

— И что же? — насторожился Алеша.

— У всех география чуть ли не половины света, а у тебя — самопалы.

— И что из того? — защитно подобрался Алеша.

— На современный уровень все равно, что лапти.

— Сказал, — обескураженно процедил Алеша.

Остальные ребята затаились в ожиданье развязки. Парадный и безупречный Бодров снисходительно поучал:

— На дворе эра высочайших технологий, а вы с батей в приглядку работаете. Знаешь, что такое высочайшая технология? Это самая лучшая, самая совершенная на сегодняшний день обработка. А твой батя шкуру толком не выделал, так с ворсом и оставил. Погляди сюда, — Антоша выставил на обзор ногу в итальянском ботиночке тончайшей кожи. — Небось тоже какая-то “му” ходила, а разве скажешь? Вы с батей так можете? Нет? Незачем тогда бежать позади поезда и смешить людей.

— Твои “итальянки” на другой год дырами изойдут, а моим сыромятам за сто лет ничего не сделается, — защищался Алеша.

— Я не собираюсь в одних шузах всю жизнь рассекать. Постоян-

ство — удел нищеты. Наш стиль — перемены. В следующий раз у меня не обязательно “итальянцы” будут. Может “корейцы”, может “японцы”. Вообще-то я к австралийским бахилам тяготею.

Ребята еще помалкивали, но в их настроении уже чувствовалось склонение к доводам Антоши. Алеша понял, что надо спешно спасти батину честь, а заодно и свое право без стеснения носить их общее с отцом рукоделие.

Знал ли отец, когда затевал сапоги, что побежит позади поезда. Наверно, такого вопроса для него вообще не существует. За свою жизнь ему столько раз приходилось бегать и впереди, и позади поезда, потому что в самом поезде, как правило, места ему не хватало. А вот его сыну придется бежать впереди поезда, чтоб утереть нос таким всегда успевающим и к месту, и к поезду пацанам.

Алеша вытянул перед собой ноги и, держа их на весу, оценивающе оглядел отцово произведение.

— Значит, в батиных сапогах ты видишь только историю, а в географии им отказываешь? — сказал он Антону. — Я, например, в них нахожу сколько угодно географии. Она в том, что мы не забросили разводить скот, не разучились выделывать шкуры, шить сапоги и ходить в них по своей земле.

— Дай, Лех, примерить! — впечатлился Алешиной речью Коля Ворота и принялся скидывать белоснежные корейские кроссовки, холодноватые для глубокой уже осени.

Колины ноги легко всунулись в самопальные ичиги и тут же согрелись в них. Подростку почудилось, что он на бабкину печку попал, а точнее на прабабкину, потому что у родной бабушки в коммунальной квартире газовая плита стоит.

От удовольствия Коля зажмурил глаза, и перед ним потекли какие-то давным-давно знакомые, но крепко-накрепко позабытые образы. А когда он разомкнул веки, взгляд его уперся в ряд выставленной как на витрине иностранной обуви, убеждавшей за себя географией чуть ли не половины земного шара. Коле жутковато сделалось от ответственности, которую он взялся на себя взвалить. Что ему Лехины самопалы? Пусть сам за них митингует! Но корни предков, шевельнувшиеся в нем, не позволили ему отступить. Он протянул Алеше его сапожки и насупленно уронил:

— Носи, Леха!.. Это вещь!

Колины слова, а особенно тон, каким они были произнесены, возымели действие. Нашлось еще несколько желающих примерить коровьи сапожки. Проверка сопровождалась удивленно-одобрительным хмыканьем, и у Алеши отлегло от сердца. Что бы там ни говорилось про новейшую технологию и всемирную географию, а батины самоделки ребята признали.

МОКРАЯ ШЛЯПА

Часам к пяти вечера, когда основные дела по дому были поде-ланы, мать позвала взрослую дочь прогуляться. Для матери день прошел как целая жизнь: она варила, парила, убирала, стирала, ходила в магазин, кормила семью и снова убирала, разогнав себя, как паровоз, в едином стремленьи: скорее успеть и побольше сделать, — чтобы завтра все повторить сначала. Для дочери дня будто совсем не было, как не было его вчера, позавчера и все дни с ее возвраще-ния домой, где она залечивала нанесенные жизнью раны. Что каса-ется ран, то они продолжали кровоточить, а сама их носительница будто в прострацию впала, перестав ощущать себя во времени и пространстве.

Маша послушно поднялась, надела черное элегантное пальто, черную красивую шляпу из дорогого велюра. Этот наряд очень шел к ее высокой и статной фигуре, нежному цвету лица, рыжеватым кудрям и прозрачно-чистым, с бирюзой, глазам. Несмотря на пере-живаемую молодой женщиной драму, щеки ее румянились и уми-ляли ямочками. Глядя на красавицу-дочку, мать не понимала, по-чему после стольких удачно взятых препятствий ей вдруг крепко не повезло. “Человек нехороший попался”, — разгадывала она себе. Дочь на эту тему говорить не желала, вернулась домой — и точка.

На дворе хмурился ненастный весенний день. Мрачно-синие об-лака, скучившиеся ворохами, тяжело проседали к земле. Мерно тя-нувший ветер колебал и раскачивал голые ветви деревьев. Но не все в непогоде было так уж неприятно. Дышалось неожиданно легко и глубоко, и воздух при вдыхании радовал душистой весенней свеже-стью.

Когда мать и дочь Чистяковы вышли из подъезда, возле дома ни-кто не гулял. Ограждая дочь от ненужных встреч и расспросов, мать увела ее за край поселка. Они неспешно прошлись вдоль пустынно-го стадиона, обогнули его и оказались у водоема, образованного из запруженного ручья и родниковых выходов. На насыпном берегу позабыто торчали беседка и металлическая горка со скатом на воду. Неподалеку возвышались турникет и великанские качели с гигант-ским размахом.

Завидев качели, Маша Чистякова высвободила руку из-под ма-теринского локтя, молодой козой вспрыгнула на подножку, схвати-лась за поручни и неистово принялась раскачиваться. Мать даже опешила от неожиданного порыва дочери. “Ну вот и ладно, — подумалось ей. — Один клинышек выбился. Еще бы проплакаться — и дело пойдет на поправку”.

Маша летала высоко, и материнское сердце начало вздрагивать в страхе за дочь.

Взлетая, Маша чуть ли не доставала до синих набрякших туч и крайних домов поселка. Потом она летела назад, а дома и тучи тащились за ней следом. Лишь подымаясь до уровня верхней перекладины, она на мгновенье заслонялась от них, но тогда висела головой вниз — и уже земля летела ей навстречу, мать кричала внизу, и шляпа едва удерживалась на макушке. “Прыжок вниз — и можно избавиться от всех неудач сразу!” — кричало внутри Маши. Во второй раз вырваться из поселка ей не удастся. Она погрязнет в здешней жизни, оскудеет чувствами, зачерствеет сердцем, застынет умом, и ничего, кроме мелочевых забот и тупого самодовольства, нельзя будет углядеть в ее замозолевшем лице.

Молодая женщина осела на подножку и расплакалась над ожидавшей ее участью. Качели, никем не разгоняемые, замедлили движение, и мать их остановила. Маша, припав к ее руке, плакала навзрыд, не пытаясь себя сдерживать.

“Выплакивай обиду, выплакивай”, — мысленно поощряла ее мать, а вслух утешала и успокаивала.

— Не будет у меня тут ни судьбы, ни работы, — сквозь рыдания проговорила Маша.

— С работой как раз может уладиться. Школу хотят строить, — обнадеживала мать.

— Ее собирались строить, когда я еще в детский садик ходила!

— А сейчас обещают всерьез. Место для нее подобрали.

— Пока построят — целая жизнь пройдет!

— В детском садике занятия по английскому языку заведи. Родители будут рады. Частные уроки давай. Английский нынче в цене. Без заработка не останешься. И личная жизнь тоже устроится. Одноклассники твои до сих пор не женаты.

— Они, мама, никем не стали и даже не попытались стать!

— Другие женихи сыщутся. Главное, ты не убивайся, а жизнь сама вынесет.

— Какая тут может быть жизнь? Разве о том я мечтала?

— Мы все мечтали одно, получали другое, а смирялись с третьим, — умудренно заметила мать.

— Не буду смиряться, мама! — Маша прерывисто вздохнула — и перестала плакать. Лицо ее сделалось замкнутым, и это обеспокоило мать.

— Не горюй, дочка! Как мы еще заживет! Все для тебя сделаю.

— Не сомневаюсь, мама. Но твои старания еще не все, что мне нужно. Поди домой. Я хочу посидеть одна и подумать.

— Нам обеим пора. Что-то похолодало, и ветер поднялся.



— Поди, мама, поди. Я еще посижу, — настаивала дочь.

Мать с неохотой пошла и все время оглядывалась, не последует ли за ней дочь. Последний раз она оглянулась уже от домов. Дочь по-прежнему сидела на качелях, одинокая фигурка в мрачном нахмуре дня.

“Если ничего хорошего не ждет, зачем тогда жить? — решала свою судьбу Маша. — Покончить с собой? Но как? Вниз головой с качелей? Вдруг не убьешься, а покалечишься? Жить станет еще горше. Тут еще есть вода... Интересно, насколько здесь глубоко? А, утопиться можно и в луже, была бы нужда!”

Маша встала с качелей, подошла к озеру и наклонилась разглядеть дно. Дунувший ветер сорвал с ее головы шляпу и бросил на воду. “Шляпа уже там. За нею последую я,” — сказала себе молодая женщина.

Словно дразня и приманивая хозяйку, шляпа отплыла от берега.

Водоем был вырыт в ложбинке и со стороны пади перекрыт дамбой с проложенными в ней трубами. Когда вода подымалась, трубы сбрасывали излишек в падь. Сток создавал в водоеме небольшую протяжку, течение. Оно-то и унесло шляпу к середине озера и там завертело на месте.

Маша представила, как она утонет, а шляпа будет кружить над ее посиневшим телом. Люди станут говорить не о ней, а о ее шляпе. В каждой трагедии есть чуточку фарса. Стоит ли оставлять по себе насмешливую память? Не лучше ли сделать еще рывок? Она уже не глупенькая школьница, приобрела опыт и кое-чему научилась. Есть у нее и другие возможности, не блестящие, правда, но можно и их испытать...

— Ребя, заебись, шляпа плавает! — раздалось за ее спиной. Три мальчика, как шквальный порыв ветра, набежали к воде.

Выскочивший первым был похож на развернутый парус. Длинные темно-русые волосы разлетелись по сторонам, широко расставленные глаза смотрели с восторгом. Второй мальчик был беленьким, пухлым, с продолговатым вялым лицом. Третий смотрел синими глазами из-под шапочки черных кудрей.

Беленький мальчик, взглянув на шляпу, лениво удивился.

— Ни хуя себе!

Курчавому шляпа понравилась.

— Крутая, стерва!

Ребята не обращали на Машу внимания, будто ее тут не было. Их не занимало также, откуда взялась на воде шляпа, для них она сама по себе тут возникла.

Шляпа, покачиваясь, кружила на середине озера.

— Еще танцует, курвешка! — выразился мальчик, похожий на парус. — Мы ей сейчас пиздец сделаем!

Он подхватил с насыпного берега камень и, пустив его низко над водой, угодил в бок шляпы. Она дернулась подстреленной птицей. Два других мальчика загоготали и тоже подхватили камни.

— Ребята! — остановила их Маша. — Пожалуйста, отловите эту незадачливую шляпу!

Мальчики дружно оглянулись, словно только теперь заметив, что на берегу, кроме них, еще кто-то есть. Нездешний вид женщины и высокий слог ее речи не понравились мальчикам.

— Что мы, в воду за ней полезем? — буркнул Парус, удерживаясь от нецензурной добавки.

— На той стороне талы много, — подсказал беленький.

Курчавый изучающе глянул на Машу.

— А что нам за это будет?

— Моя благодарность, — сказала она.

Ребята, видно, поняли ее слова как-то по-своему, потому что вдруг сорвались с места и понеслись по гребню дамбы на другую сторону озера. Там они долго возились, отчаянно галдели, пересыпали выкрики крепкими выражениями.

Маша обратила внимание, что у каждого из ребят свой бранный почерк. Тот, что похож на парус, сам под ветром — и слова его как бы по ветру полощутся, хлопают. Беленький матерками сыплет, как мусором, без разбору и толку, при полном безразличии к смыслу. Курчавый крутое словечно вставляет редко, зато основательно, как шуруп ввинчивает. Но у всех троих мат возведен в права разговорного языка и абсолютно легитимен. То ли сами они его узаконили, то ли предыдущие поколения их к этому подвели, а они приняли как данность. Попробуй тут не прими, когда им весь окружающий воздух перенасыщен. Вот и ее отец уже несколько раз при ней не сдержался. Раньше, когда она приезжала в гости, он себе этого не позволял, а теперь, раз уж насовсем вернулась, решил не отказываться от привычек. И мама его не укоряет, будто так и надо. И Маша, из чувства вины, что свалилась родителям на голову, тоже не делает отцу замечаний.

С длинными прутьями тальника ребята вернулись к озеру. Маша уже знала их по кличкам. Мальчика, напоминавшего ей парус на ветру, называли Черный Плащ, но иной раз и по имени — Максим: видимо, кличка была еще свежая. Беленького звали Степашей — наверно, по персонажу телепередачи “Спокойной ночи, малыши!” — а курчавого — Артамоном, явно за сходство с пуделем Артемоном из “Золотого ключика”. “Литературно-телевизионный коктейль,” — улыбнулась про себя Маша.

Мальчики быстро заняли места вокруг водоема: Степаша с Артамоном встали на противоположных берегах, а Максим сбоку, на дамбе. В его задачу входило отловить подогнанный к нему трофей.

Шляпа покачивалась на половине Артамона. Буровя прутом воду, он поднял волну и направил шляпу на половину Степаши. Тот бестолковыми ударами по воде отогнал ее в противоположную от дамбы сторону, за что тотчас же получил выволочку от Максима:

— Ебанутый Степаша! Куда ты ее захерачил? Ко мне пиздюрь — не соображаешь, что ли?

— Да Степаша — говно трахнутое, — хладнокровно изрек бездельничающий на своем берегу Артамон. Ввинтил шуруп.

Беленький Степаша, без обиды принимавший сильнейшие экспрессивы Максима, лично его не задевавшие, оскорбился на замечание Артамона, ударившее по его достоинству.

— А ты какое говно? — вялым голосом поинтересовался он. — Понюхай, прежде чем на других говорить. Я тоже могу сказать, что ты, Артамоша, шавка.

Настала Артамонова очередь обижаться.

— Как настучу по ушам! — пригрозил он.

— Я сам настучу, — лениво бросил уже успокоившийся Степаша.

Максим, не обращая внимания на перепалку приятелей, следил только за шляпой и углядел, что течение медленно подвигает ее к дамбе.

— Степаша, подхлестни мандавошку сзади, пусть пошевелится! — скомандовал он.

На этот раз Степаша не оплошал и, колотя изо всех сил по воде, подогнал шляпу к дамбе. Артамон на своей стороне тоже колотил, чтобы ей не вздумалось свернуть к нему. Максим подцепил шляпу прутом и поднял на воздух.

С трофеем, насаженным на прут и высоко поднятым над головами, мальчики победно подступили к Маше. “Трагедия вся без остатка перешла в фарс”, — сказала она себе, а вслух, под стать обстановке, торжественно произнесла:

— Благодарствуйте, ребята!

— Благохуйствуйте сами, а нам нужно вознаграждение! — деловито объявил Максим — Черный Плащ.

— Вы и такое слово знаете? — насмешливо удивилась она.

— Еще бы. По телику каждый день говорят: “Вернуть за вознаграждение”. Мы тоже вернем за вознаграждение. — Широко расставленные глаза Максима с твердостью смотрели на хозяйку шляпы.

— И сколько вы просите? — поинтересовалась Маша.

— А сколько она стоит? — уточнил Максим.

— Цена шляпы гораздо выше цены вашей работы, — смутилась Маша.

— Мы тоже не дырявое ведро доставали, — с вызовом ответил Артамон.

— А вы кто? — полюбопытствовал Степаша.

— Учительница английского языка.

— Училка?.. Ничего с нее не возьмешь! — презрительно фыркнул Степаша.

— Ладно. По штуке на брата, — сказал Максим. — А то захерачим ее обратно. Полезете тогда сами.

— Таких денег у меня с собой нет, — растерялась Маша.

— Я ж говорил — училка! — еще раз фыркнул Степаша.

— Может, тысяча вас устроит?

— Штука на всех? Даже на мороженое не хватит! — скривился Максим.

— До мороженого я вам добавлю, — заверила Маша, доставая из пальто большой и шикарный кошелек, в котором, действительно, почти ничего не было. На мороженое для каждого, однако же, нашлось. В ту весну пломбир в вафельном стаканчике стоил четырехста рублей.

Ребята обменяли шляпу на деньги. Когда сделка завершилась, Маша сказала:

— Хорошо бы вам выучить английский. Очень емкий язык. Научит вас обходиться одним словом вместо пяти.

— А зачем нам слова экономить, раз мы много их знаем? — удивился Максим.

— Выразительные слова не должны преобладать над смысловыми. Английский язык научит соотношению.

— Ха, английский! — осклабился Степаша. — Что мы, видак не смотрим? Гундосые переводчики не то еще говорят.

— Они пересаливают, — заверила Маша.

— Ну и что? Нам нравится, — рассудил Степаша.

Сверля Машу синими, колодезной глубины глазами, Артамон наставительно произнес:

— Надо быть платежеспособной, когда просите о помощи.

Маша вспыхнула.

— А если б я тонула и у меня не было денег, вы что, не стали бы спасать?

— Стали бы, — хладнокровно вымолвил синеглазый. — Но всю оставшуюся жизнь вы бы с нами рассчитывались.

— Артамоша, заткнись, — бросил, трогаясь с места, Максим.

— Шавка подкусывает, — ухмыльнулся, уходя вслед за Максимом, Степаша.

— Могли б на эскимо в шоколаде содрать, — догоняя ребят, по-сожалел об упущенной возможности Артамон.

— Раскатал губу до мудей, — донесся уже издали вялый говорок Степаши.

— Ребята! — окликнула их Маша. Мальчики обернулись. — Я открываю уроки английского языка. Приходите!

— Когда открываете? — заинтересовался один Артамон.

— Я повешу объявление.

— Почитаем, — небрежно пообещал синеглазый, и мальчики удалились.

Маша осмотрела шляпу. Она вся пропиталась влагой, но вода с нее не текла. “Все впитала в себя,” — подумалось Маше. Вот и ей, как этой шляпе, придется впитывать в себя поселковую мерзость и так же, как шляпа, не выпускать наружу, а потом от перегрузки затонуть. Или лучше повести себя, как шляпа с лаковым покрытием: не впитывать, не перегружаться, плавать на поверхности, ни на что не обращая внимания. Поселок сам по себе, она сама по себе — целую жизнь чуждые друг другу. А может взяться перекраивать наново сам поселок, начиная с этих ребят и еще моложе? Поколение за поколением, поколение за поколением приподнимать их над дрянью жизни. Это могло бы стать смыслом ее существования здесь. В конце концов она же учитель!

ВЫРВАТЬ ИЗМЕНУ С КОРНЕМ

Зинаида Буйнова неделю гостила в деревне у матери. Отвозила на каникулы дочку-подростка от второго, припоздалого брака. А когда вернулась домой, в первый же день узнала, что муж в ее отсутствие подгулял со своей подчиненной, двадцатилетней молодой Ириной. Известие поразило Зинаиду в самое сердце. До сих пор мужики ей не изменяли. Она — да, а они — нет. Неужели ее черед пришел? Ну нет, она вырвет измену с корнем! Правда, ей не приходилось еще иметь соперницу с двадцатилетним разрывом, но бабенок лет на десять себя моложе она обставляла. Может, кому другому бороться с молоденькой не по силам, а она, Зинка, отчаянная, она примет вызов и выступит против молодой не только как жена против любовницы, но и как женщина против женщины, не глядя на разницу в возрасте. Посмотрим, что возьмет — молодость или умение?

Муж Зинаиды при одном взгляде на жену понял: она знает. В маленьком поселке разве подобное утаишь? Он приготовился вы-

держат все, что она ему за его грех выдаст. Но Зинаида туманно на него посмотрела, прошла в спальню и плотно закрыла за собой дверь. Муж подождал, подождал, но так как из спальни не доносилось ни звука, расслабился и начал подумывать, когда можно будет подступить к жене насчет ужина.

Зинаида сидела перед зеркалом и очень внимательно себя изучала, как подетально, так и в общем виде. Рассматривала глаза — зелено-карие, болотные, с искрою. Сколько сердец подождено этой искрой, а сколько на погубу приманено! Огонь и теперь еще иной раз ударяет, но сшибает уже не всякого. Осторожнее, что ли, мужики стали, или с годами повыстудились? Ничего, муженек на ее огни побежит.

Удовлетворившись состоянием глаз, Зинаида перенесла внимание на нос, бывший, по ее мнению, не лучшей формы. В молодые лета выручала его лихая вздернутость. К сорока годам это уже не достоинство, но и в недостаток еще не перешло. “А, какой есть, такой есть, по-другому не переделаешь”, — успокоила себя Зинаида и занялась оценкой того, что она переделывать умела. Не нравившийся ей цвет лица она давным-давно скрыла за постоянным загаром, когда натуральным, а когда накладным. Волосам она навсегда придала каштановый оттенок, крупно их завивала и напускала на долговатую шею, которую, впрочем, почитала за лебединую, потому что она высоко подымала ее головку и задавала тон всей осанке. Оттого вид у Зинаиды гордый, победоносный. “Зинка-везуха”. А чем “везуха”? Тем, что умеет себя преподнести и заставить поверить, что такая она и есть.

Как будто все ее переделки в порядке. Загар натуральный, она уже с марта, словно подсолнух, повернута к солнцу, волосы подвиты и покрашены, шея тугая, гладкая. На лице морщин не видать, но оно отчего-то припухшее и усталое. Еще бы, в деревне Зинаида не на перинах валялась, а по целым дням на огороде впахивала, матери помогала. А как же иначе? Внучку ведь ей на шею до конца лета повесила. Усталость она уберет: подмажет, подкрасит, и будет как надо.

Других изъянов в себе Зинаида не заметила. Не постарела, не подурнела, а муж тем не менее изменил. Значит, какая есть, надоела? Ну, это мы еще посмотрим! — погрозились Зинаида и принялась себя раскрашивать-убирать. Закончивши действие, снова посмотрелась в зеркало и увидела женщину в зените совершенства и зрелости. Каждая черта — как произведение искусства или к этому тяготеет. Зинаида сама поразились, не каждый раз так удачно выходит. Видать, сильное чувство водило ее рукой. Из удалства ей захотелось подмигнуть себе глазом, но она не рискнула: красота накладная, тяжелая, перегрузок не терпит. Зинаида вставила в уши

блескучие серьги, обвила шею широкой, под золотое сияние, цепью.

После этого приступила к осмотру тела. И его состояние ее не огорчило: плечи гладкие, грудь не осела, спина, как по отвесу, прямая, живот плоский, фигура суховатая, нигде лишней жиринки. Однако есть и к чему придраться: тело уже не плотно и не упруго, кожа на животе слегка дрябнет. А муж-то знает ее на ощупь. Ничего, она обтянет себя одеждой, и будет что надо.

Зинаида вынула из шифоньера новое зеленое платье с открытыми плечами, туго прилегающим лифом, пышной короткой юбкой. Надела, огляделась, заводно прицокнула. Молодайка в сравнении с ней топором тесана. А у Зинаиды и грудь, и талия — как на витрине. Недаром же сын от первого брака, когда приглашает к себе, предупреждает: “Мама, только не фуфырься, ты затмеваешь мою жену”. Еще чего, не фуфырься! Как же без этого жить и по белу свету ходить? А его курице лень за собой поухаживать.

Зинаида встала на каблуки белых и самых нарядных туфель. Подумавши, вынула из коробочки розу и сунула ее в вырез платья. Зеленый цвет к глазам, розовый к губам. Она красит их нежной, лепестковой помадой, как бы приглушая тем жар остальных своих красок. “Ах, держите меня, улечу!” — воскликнулось внутри Зинаиды, и тут она повернулась к вошедшему мужу.

Он появился в спальне как раз в тот момент, когда она погружала розу в вырез платья. И это ее движение отдалось в нем тревогой, знаком опасности и угрозы. Будто роза его уколола.

— Ты куда собираешься? — поинтересовался он.

— Адресов много, — уклончиво сказала Зинаида, делая вид, что смотрится в зеркало.

Муж решил не заметить сухости ее тона и, подойдя ближе, поцеловал жену в оголенное плечико.

— Какая ты сейчас красивая!

Зинаида отстранилась и надменно сказала:

— Иудин поцелуй.

Этого муж не стерпел и остуженным голосом спросил:

— Когда иудин? Сейчас или тогда, когда я тайком от прежней жены тебя целовал?

— И тогда, и сейчас, — понесла по кочкам Зинаида. — И вообще ты порождение Иуды.

— А ты чье порождение? Магдалины-блудницы?

— Давай не будем о блюде, а то как бы не пришлось приводить примеры, а они совсем близко, — намекнула Зинаида.

Но муж не хотел вникать ни в какие намеки, его беспокоили намерения жены.

— Как понимать то, что ты приехала домой к мужу, а вырядишься, будто на свидание?

— А что, мужу больше по нраву, когда чужая жена лучше собственной?

— Так это ты для меня наряжаешься? — с облегчением произнес муж.

Его предположение угодило в точку, но Зинаида не позволила себе признать это вслух. Соскочив с мягкого пуфика и наставившись на мужа ненавистной ему розой, она отрицала и отрицала, не забывая в то же время соблазнять его позой, грудью, открытыми плечами и тою же розой, насмешливо глядящей из выреза.

— Думаешь, что для тебя? Хочешь, чтоб для тебя? Я могла б для тебя! Вся моя жизнь для тебя! Но ты разве ценишь, дорожишь, благодаришь? Поэтому не для тебя! В этот раз для того, кто будет любить, боготворить, восхищаться, кто не предаст и не променяет на первую попавшуюся юбку! Для того, кому буду нужна я, только одна я на всем белом свете!

— И ты знаешь такого человека? — мрачно спросил муж.

— Я знаю, что это не ты! — воскликнула Зинаида и запальчиво пообещала: — Но я такого человека найду!

С этими словами она бросилась вон из спальни, на ходу прихватив прозрачный шарфик, а там вон из комнаты, а дальше из прихожей, и входная дверь за нею захлопнулась.

“Эта сумасшедшая дура любую монету на ребро поставит!” — мысленно выругался муж и поспешил вслед за женою. Когда он выглядывал из квартиры, Зинаида большой радужной птицей несла себя вниз.

— Зина! Вернись, не дури! — позвал он, но от жены осталось только взвихренное дуновение и стук каблучков на лестнице.

Тогда он перебежал на балкон, выходящий во двор, ожидая ее появления внизу. Вот она показалась, с голыми плечами, с розой, полная вызова и решительного настроения. Тут уж она себя на ребро ставит, и если не удержать, вытворит невесть что. Муж перегнулся через перила и негромко, так как на Зинаиду уже смотрели, но с различимой угрозой окликнул:

— Зина, вернись!

Она только плечи расправила, словно облегчила их от семейного груза, и на цыпках пошла, и бедром заиграла, то ли его допекала, то ли уже выставлялась на публику. От ее походочки забалдели парни, тусовавшиеся на верхней площадке двора. Они до того тесно сгрудились на краю лестничного марша, что чуть было вниз не попадали. Зинаида прямо на них двинула, воздушно ступая белыми туфельками по бетонным ступенькам. Парни обыченно и недвиж-

но следили за ее приближением, а когда она подошла вплотную, почтительно раздвинулись. Кто-то врубил на полную мощь магнитофон. Выстукивая в такт музыки каблучками, Зинаида триумфально прошла сквозь восхищенный строй и на прощанье взмахнула шарфиком. Парни осатанело взревели. “Это вам не просто телка. Это настоящая женщина. Смотрите, какая она бывает на самом деле”, — мысленно наставляла их Зинаида.

Окрыленная успехом у молодежи, она и себе задавала программу. Она сошьет себе новое платье, пойдет в нем на вечеринку и на глазах у людей вскружит голову мужу. И никто не усомнится, что она самая нарядная, самая красивая и самая везучая на свете. А мужу тем более это будет ясно.

Но когда Зинаида поуспокоилась и поостыла, она услышала в себе недоуменный вопрос: “Куда и зачем она идет на виду у всего поселка?” Она попробовала внушить себе, что гуляет для собственного удовольствия. Но внушение не удавалось, потому что она знала, что удовольствие кончилось после того, как она взметнула перед ребятами шарфиком. А дальше, по ее предположению, должен был появиться муж с признаниями в любви и клятвами в верности. Но его нет, а значит нет смысла во всем том, что она ради него проделала. Сейчас она уже не самая красивая, а самая глупая и несчастная женщина. Она, как комнатный попугайчик, который самонадежно вылетел из квартиры и не знает, что делать на воле. Поселок ведь небольшой, и скоро каждый начнет любопытствовать, отчего она мечется между домов в наряде, пригодном для ресторана. “Может, пойти к кому-нибудь посидеть? — соображала Зинаида. — Но опять же будут спрашивать, для чего она разоделась?.. Хорошо бы домой, раздеться и в ванну. Она рано встала и долго ехала в тряском автобусе. Ей пора лечь, отдохнуть.

Муж догнал Зинаиду, когда она была на краю поселка. Она тотчас ожила, заблестала опереньем, распушила крылышки, сделала вид, что уступает мужу против собственной воли.

— Ладно, — сказала. — Иди за шампанским, если хочешь посидеть вечером с женой.

ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

На лужайке перед домом поднялись на длинной ножке и раскрылись желтые, в крупную чашечку одуванчики. Они так красовались, так выставляли из зелени махровые головки и так улыбались, что заразили весельем Анку, мывшую окно в первом этаже. Работа

запела в ее руках. А когда девушка убрала и помыла в квартире, она выпрыгнула из окна на лужайку, нарвала солнечных цветов, уселась на подоконнике, сплела венок, надела его на голову и за-красовалась вместе с одуванчиками, наполняя окрестный мир токами молодой радости.

Вдоль этой стороны дома пролегала неудобная для ходьбы гравийная дорожка. Но люди иной раз сворачивали с асфальта и шли по неудобной дорожке, с утра выбирая ее за солнце, а после обеда — за тень.

Поэтому Анка не совсем среди безлюдья сидела. Время от времени мимо нее проходили, и у кого душа не в конец зачерствела, при взгляде на девушку в венке взбадривались, просветлялись воспоминанием или надеждой. Самой же Анке одуванчики нашептывали скорую судьбу и семейное счастье.

Вот перед окнами прошел сухонький, морщинистый дядечка с взъерошенным чубчиком. Завидел Анку в окне — и морщинами дрогнул, осветился. Должно быть, годки припомнил, когда мог без зазору перед девчатами хорохориться.

— Села, значит, — похвалил он и обнадежил: — Недолго тут просидишь!

“Конечно, недолго, а то одуванчики повянут”, — подумала Анка и посмотрелась в оконное стекло. Одуванчики на белокурой головке жаром горели, сережки с белым камешком взблескивали, голубые глазки празднично сияли. Все остальные черты тоже подправились, будто добавочную красу на них наложили, и привораживали так, что саму смущали. “Да что такое с ней сотворилось? Всего только венок сплела и надела”.

Тетеньке, оказавшейся перед Анкой, не по нраву пришлось, что девица собой любит и любованием упивается.

— Выставилась... Не знают уже, чем себя навязать, — осудила она.

— А вы как себя навязывали? — ответно спросила Анка.

Тетенька подбоченилась, приосанилась и кичливо молвила:

— А я не навязывалась. За мной сами бегали.

По всему было видно, что она не врала, потому как и к пожилым годам не вся краса ее выгорела. Была она высокой, статной, в ореоле густых, забранных в узел волос.

“А все равно, теперь уж не побегут”, — мстительно подумала о ней Анка, а вслух сказала:

— За мной тоже побегут.

— Побегут, как же! Нынешние в основном убегают, — созлорадничала тетенька и двинулась дальше, довольная, что осадила возомнившую о себе молодость.

“Ехидна!” — мысленно обозвала ее Анка и тут же о ней забыла, переполненная трепетом радостного ожидания.

Еще одна тетенька пробежала мимо. Она так спешила и так была заморочена заботами, что не заметила сидящей в окне девушки. Анке она напомнила облетевший стерженок одуванчика. “Неужели и я такой буду?” — боязливо подумала девушка и не поверила в подобную участь.

На гравийной дорожке появилось молодое семейство: муж, жена и ребенок, трех-четырёхлетняя девочка. Жена вела девочку за руку и, наклонившись, ей что-то начитывала. Само собой, что вокруг себя она ничего не видела. Оставленный без присмотра муж тотчас же углядел Анку и заинтересованно на нее воззрился. Уже и мимо прошел, а все равно вывернул шею и пялился — Анка показала ему язык. “Чего заглядываться, если уже зацеплен? Жена тоже хороша: за ребенком следит — а муж без внимания. Не заметит, как уведут.”

Вдруг Анкино сердечко подпрыгнуло и громко заколотилось. К ней приближался Олег Опанасенко, сам Олег Опанасенко. Не на мотоцикле, как обычно, — мелькнет между домов — и в деревню, где у него зазноба, — а пешком шел, неторопко, выказывая себя в полном виде. На нем майка фиолетовая в частую сеточку. У него бицепсы с боксерскую грушу каждый. У него шея, что тебе добрый ствол у корня. У него грудь — размахом рук не обхватишь. Под широким лбом большие карие глаза спокойно на мир смотрят. Олег Опанасенко, ах, Олег Опанасенко! Так бы и выпала из окна к нему на грудь! Как бы та тетечка ни злословила, а уж Олегу Опанасенко она б чем угодно себя навязала, если бы страх не связал. А то одно сердце стучит и колотится в ней, а все остальное при виде Олега как занемело и слушаться перестало.

Лишь одуванчики на белой головке нисколечко не смутились, пуще вспыхнули, загорелись и так в глаза кинулись, что парень поневоле на них взглянул. А под одуванчиками открылось ему милое личико, до того завлекательное — взгляда не оторвать.

— Ты откуда взялась? — нечаянно вырвалось у него.

— С солнышком расцвела, — так же нечаянно вырвалось у нее.

— Значит, надо солнышко благодарить?

— И еще одуванчики.

— Одуванчики обязательно, — оценил он жаром пылавший венчик.

Парень тоже сиял неожиданной, как внезапное озарение, улыбкой. И эта улыбка предназначалась ей. У Анки замирало сердце и перехватывало дыханье.

— Почему я раньше тебя не видел? — удивлялся он.

— Так ты все на мотоцикле да на мотоцикле, а с него разве увидишь? — говорила, как пела, Анка.

Упоминание о мотоцикле что-то в его сознании пробудило, потому что улыбка парня стала рассеянной.

— Не боишься, что кто-то возьмет и унесет тебя вместе с одуванчиками?

— Пусть берет и пусть уносит. Только не у всякого это получится, — сказала Анка.

— А может, не унесет? — задумчиво проговорил парень.

— Он пожалеет об этом! — встрепенулась девушка.

— Почему?

— Потому что мимо судьбы пройдет!

— Кто заранее о таком знает? — сказал парень, силком сдвигая себя с места. — Вообще-то у меня дела... я пойду... — смущенно проговорил он и на самом деле пошел.

“Выходит, это не он? Как жаль, что не он! Не хочу, чтоб не он!” — запротестовало Анкино сердце. Ах, зачем она к нему не спрыгнула, не пошла рядом, чтоб ни в чем от него не отстать? Но вдруг он потом в деревню, а она куда?

Анка всхлипнула и потерла глаза кулачками. “Одуванчики, наверно, повяли”, — вспомнила она о цветах, не удержалась и посмотрелась в стекло. Цветы горели как ни в чем не бывало. “Видно, другой будет. А мне все равно!” — подумала Анка. Одуванчики хоть и горели, но в ней самой что-то погасло.

А под окнами пошли женихи. Один за другим. Все разные и все нежеланные для нее.

Длинный худой парень позвал Анку погулять. Она с осуждением оглядела его узкие плечи, впалую грудь и буркнула:

— С кем попало не гуляю!

Понятное дело, что жених возле нее не задержался.

Затем под окном застряли сразу три бравых солдата. Они наперебой завлекали девушку и, как ни старались, не сумели в ее глазах хотя бы поразниться. Когда их стрекотня ей надоела, она решительно с ними распрощалась, сказав, что в карауле, даже почетном, она не нуждается. И эти женихи сгинули.

С дороги, сквозь зеленый заслон, углядел Анку какой-то хват на машине. Подогнал авто под самые окна и широким жестом пригласил:

— Садись, красавица, увезу на край света. Жалеть не будешь.

А уж молодец краше некуда. Брови, глаза черные, глядят соколом, нос прямой, тонкий, под ним усики, сам строен, туго натянут, как тетива на луке, от нетерпения ногами переступает. Такой увезет, да только в один конец. Обратно самой топать придется.

— По горам скакать — каблуки ломать. Лучше тут посижу, на солнышко погляжу, — ответила Анка.

— Не понимаешь, девушка, от чего отказываешься, — прицокнул языком молодец. — За тобой что — веночек плетеный да глазки голубенькие. За мной, красавица, конь удалой, — хлопнул по машине, — сердце горячее, — хлопнул по груди, — карман полный, — хлопнул по бедру. — На сегодня все мое твоим будет, а все твоё — моим.

— А на завтра? — спросила Анка.

— И на завтра, и на послезавтра, и на всю жизнь с лихвой хватит того, что сегодня получишь, — блеснул глазами молодец.

Анка же посерьезнела ликом, построжала голосом, когда ответ говорила.

— Много ты обещаешь, парень, да мне этого мало. Проезжай мимо, не засти место. Не для тебя сижу и не тебя жду.

Удалец насупился, коротким словом руганул девушку и съехал, да так лихо, что после него и дымок не закурился.

Возле Анки никого не осталось. Пора, видно, веночек снимать и забираться в квартиру. Какой толк, что она в цветах половину дня просидела? По-серьезному ни один не позвал. В квартире и вовсе никто не увидит. Бесполезно увянет ее краса.

Не успела Анка такое подумать, как к ее венку сразу несколько рук протянулось.

— Дай примерить! Дай примерить!

Девчонки-малолетки к ней подступали. И откуда взялись? Мгновенье назад ни единой души близко не было.

— Сплетите себе и примеряйте, — отказала Анка.

— Одуванчики кончились, — галдели малолетки.

— Ничего, к вашим годам нарастут, — пообещала Анка, постановив для себя сидеть до конца, никуда не сходить. Подрост вон как шубой идет, чуть зазеваешься — перехватят счастье.

Чтоб в ожидании развлечься, Анка взялась разглядывать небо, пышные облака, медленно плывущие в голубом просторе. “На такой бы перине покачаться!” — помыслила было она, но тут же одумалась. С эдакой вышины ни ее саму, ни одуванчики никто не увидит, а она в одиночестве закоченеет. Там, в высоте, холод, а на земле солнышко припекает, травка зеленая, деревья сочным листом перебирают, цветы распускаются. Счастье-то на земле живет, и люди его друг дружке дарят.

За подобными рассужденьями Анка чуть было не проглядела приближенье судьбы. С той стороны, куда ушел, бегом возвращался Олег Опанасенко. Бугры его рук так и мелькают, так и мелькают. В лице отсвет волнения — не опоздал ли он.

На этот раз Анка не испугалась, не замлела, управление чувствами не потеряла. Сердце, хоть и подпрыгнуло в радости, но выстукивало ровные и глубокие удары. Девушка осанисто выпрямилась, посерьезнела и с хозяйской уверенностью встречала жениха.

— Сидишь еще? — просиял, увидев ее Олег. — Сейчас я тебя заберу.

— Заберешь — назад не посадишь, — строго предупредила она.

— Не бойсь, я за себя отвечаю.

— А за меня?

— За тебя тоже.

Анка верила, но испытывать продолжала.

— А как же зазноба в деревне?

— Была зазноба, да вся вышла.

Руки парня уже тянулись к ней, а она все еще не сдавалась.

— Ты не думай, я строгая — воли тебе не дам.

— Стерплю, если всегда будешь такой же хорошенькой.

— Буду, не сомневайся, какой пожелаешь буду, — смело заверила Анка и долгожданно обвила его шею.

Влюбленные унесли свое чувство за поселок, в зеленые кущи ракушек, и там, блуждая по тропкам, вышли к дачному домику семьи Опанасенко.

— Ой, — спохватилась Анка. — У нас же одно кольцо на двоих! Надо второе плести.

— Да брось ты эти приметы, — попытался отвлечь ее парень.

— Нет, — запротестовала девушка, — раз мы по-серьезному, то все должно быть по правилам.

И парень сдался. Второй венок они плели вместе из того, что попало под руку.

А потом два венка, золотой и зеленый, свисали с гвоздя над дверной притолокой, а два сердца стучали так близко, что их удары сливались. Вскоре Анка начала различать в согласном бое чистый и нежный подзвук.

— Слышишь, — сказала она Олегу, — третье сердце стучит.

— Выдумываешь ты все, — отмахнулся он.

— Ты прислушайся и поймешь, — убеждала она. — Наш ребеночек сигналы нам подает. Семья мы с тобою, Олежек.



В ДУХЕ ВРЕМЕНИ...

На штанах появились заплаты.
И судьбы потускнела звезда.
Никогда я не буду богатым,
Как и не был я им никогда.
Никогда, даю честное слово.
Хотя честь нынче, ой, не в чести...
— Как живешь?
Отвечаю:
— Хреново!
Будешь слушать?..
Давай-ка плати!

МЫ ВСТРЕТИМСЯ С ТОБОЙ

Примчись, мой друг, тоскует твой поэт!
Приедь ко мне, тебя я умоляю.
Плесни романтики в мой жизненный сюжет,
И мы с тобою ой как погуляем!
Двенадцать лет разлуки — нам укор,
Я буду ждать до мартовской капли.
Примчись, мой друг, продолжим разговор,
Который мы закончить не успели.

Примчись, мой друг, хоть летом, хоть зимой.
Увидишь сам — тебя мы не забыли,
И та девчонка стала мне женой,
Которую вдвоем мы полюбили.
Помянем мы прошедшие года,
Поднимем тост и больше не уроним,
Пошлем мы к черту наши холода
При встрече на Свободненском перроне.

Куда несешься, бешеная Русь?
 И видно, мои страхи не напрасны.
 В другой стране проснуться я боюсь,
 Где рядышком коричневое с красным.
 Куда несешься, глупая страна?
 Подумать и представить не легко мне,
 И что это за чудо — племена,
 Которые вчерашнего не помнят!

Обидно, что напрасно моя мать
 Рыдала над отцовской похоронкой.
 Ее беду пытаются отнять,
 Засыпать, как заросшую воронку.
 Ее беду пытаются убить,
 Ее печаль пытаются не видеть.
 О, Господи, как можно не любить!
 Самих себя как можно ненавидеть!

Кому-то мои страхи — ерунда,
 Не задевают разума и чести.
 Мы просто разбежались кто куда,
 Но кровью умываться будем вместе.
 Кому-то мои страхи — звук пустой,
 Кому-то дальше пропасти не видно.
 Солдату ж под Кремлевскою плитой
 За нас, живых, я думаю, обидно.

СТРАНА АБСУРДИСТАН

То, что не нашел, я не жалею,
 То, что потерял, — моя вина.
 Мы еще с тобой переболеем,
 Миру непонятная страна.
 Властью захлебнется камарилья
 Раньше, чем я к Богу соберусь.
 Мы еще с тобой расправим крылья,
 Много раз обманутая Русь.
 Мы еще оттаем, мы воскреснем,
 И не понесемся в никуда.
 Только вряд ли кровь на Красной Пресне
 Высохнет с годами без следа.

Жизнь моя без видимых оттенков,
На закат глядит мое окно.
Стену перелез — уперся в стенку,
Вот такое грустное кино.
Видно, подустал я унижаться,
Светлые надежды хороня.
Долго так не может продолжаться
С родиной, похожей на меня.
А пока судьба моя бескрыла,
Но перетерплю, глядишь, а там
Я найду еще немного силы
И переживу Абсурдистан.

* * *

Холодный душ, и тут же — кипятком...
Моя судьба — подстреленная птица.
Сначала — шок.
А боль была потом, —
Когда я оказался за границей.

“Не может быть!” — кричу издалека
Родному брату где-то в Украине.
И разобраться трудно мне пока —
Он или я остался на чужбине.

Такие ж лица, те же имена,
И за фасадом так же безобразно.
Мы вместе шли.
Была одна страна.
А вот, выходит, думали о разном.

Мы вместе шли неведомо куда.
И разбрелись, как гости после бала.
Настала ночь, настали холода —
Но нас одно не греет одеяло.

Как вышло так? Ответа не сыщу,
И не смогу себя располовинить.
Не потому ли часто я грущу,
Что дом мой здесь, а сны — об Украине?

* * *

Все выше и выше, и выше
Безумные цены летят.
А миру — плевать: он не слышит,
Чего там Иваны хотят.
Хихикают — саны и биллы,
И дружно дают нам совет:
— Продайте скорее Курилы,
Пока у вас денежек нет.
А там поглядим, Бог рассудит, —
Простится любовный роман.
Ведь денежек нет и не будет,
У глупых — дырявый карман.

* * *

Безысходностью пьян, даже хочется выть,
То ли я, то ли мне все мешает.
Я ужасно устал, но приходится жить,
Жить, пока мне Господь разрешает.
Но — а если я вдруг дотянусь до петли,
Опостылеет “счастье земное”,
Я хотел бы всю мерзость с уставшей земли
На тот свет заарканить с собою.



ЭСТАФЕТА ДОБРА

О творчестве Олега Маслова

Начну с парадоксального и явно несовременного утверждения: поэзия Олега Маслова — поэзия русского интеллигента.

У читателя недоуменно поднимутся брови: интеллигента? Интеллигенцию же сегодня ни в грош не ставят, да она этого и заслуживает. Вы что, Чехова не читали? Сегодня оценку, данную им русской интеллигенции, чуть ли не в каждой третьей статье цитируют. Забыли? Напомним: “Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, интеллигенты они или мужики. В них сила, хотя их и мало...”

Да, все сказанное классик относил к интеллигенции. А мы можем дополнить его более близким, спросив: “Неужели все эти Кибировы, Еременки, Друки, которые только и подливают масла в огонь людского раздора — интеллигенты? Издеваются над святой святых — российской историей, честью, достоинством россиянина. А лексика? В выражениях не стесняются, пройдутся матюгом как утюгом. Нет, быть сегодня интеллигентом — увольте...”

И все же, несмотря на подобные мыслимые контраргументы, я утверждаю: поэзия О. Маслова — поэзия истинно русского интеллигента, человека одаренного и глубоко убежденного в том, что он делал и делает. Откройте его поэтические книжки (сборники стихов О. Маслова вышли в Амурском отделении Хабаровского книжного издательства в г. Благовещенске: “Моя профессия”, 1973 г., “Страда земная”, 1975 г., “Передний край”, 1980 г., “Костер”, 1985 г., “Лицом к лицу”, 1989 г.), вчитайтесь в них. Я уверяю, вы не найдете ни одной строки, в которой сквозили бы лицемерие, фальшь, ис-

терика... Потому как нет этих черт и в характере автора — скромного, обаятельного, требовательного к себе человека. Маслов — врач, более того, один из опытнейших и знающих в своей отрасли, кандидат медицинских наук. Всю жизнь работа давала ему хлеб насущный, а стихи — это уже выражение духовных потребностей, стремление осознать предназначение человеческой судьбы в мире, обществе, государстве. И не отсюда ли главным стержнем его лирики — а Маслов поэт лирический — стало философское осмысление жизни человека как самого замечательного феномена в море вечности.

Великий Гете в “Гимне природе” создал прекрасные образы тонкой диалектической связи жизни и смерти, единых у “величайшей художницы” — природы. “Действие, которое она разыгрывает, — писал Гете, — всегда ново, ибо она непрерывно поставляет себе новых зрителей. Жизнь — прекраснейшая из выдумок. Смерть — художественный прием для создания новых жизней”.

Удивительно! Свежо! Вечные и, без сомнения, главные проблемы. Впрочем, причем здесь Гете? Думаю, что ни один поэт не может пройти мимо, не попытавшись разгадать извечную тему бессмертия человеческого духа. Не проходит мимо и Олег Константинович Маслов. С большой искренностью эта попытка воплощена в следующих строках:

Когда я начал сердцем понимать
То, что умом давно постиг,
На свете
Не стало мне роднее слова — мать,
Не стало мне дороже слова — дети.
Мне как-то вдруг открылось, и сполна,
Что наша жизнь — не бег, но эстафета
Добра и счастья, разума и света,
Что нам самой природой вручена.
Я в ней свое бессмертье ощутил,
Не приобщаясь ни к какому чуду, —
И то, что до рождения в предках был,
И — что в потомках после смерти буду.
Одно нашел, другое — потерял.
Прощай, покой!
Взамен пришла тревога:
Ведь срок, для дел отпущенный, так мал,
А сделать надо так безмерно много.

Жизнь — эстафета добра и счастья. Лирический герой О. Маслова мыслит нравственными категориями — долг, счастье, добро, сер-

дечность, стойкость, жертвенность, сострадание. Эта этическая углубленность в человеческую природу органически входит в образную ткань стиха, придавая ему особое нравственно-эстетическое своеобразие. Многие из его стихов пропитаны какой-то особенной солнечностью ("... и так душа по-детски ликовала"), озарены улыбкой, просты по форме. Но они трогают вашу душу глубиной проникновения в такие, казалось бы, неразрешимые тайны бытия, как вечность. И поскольку перед нами поэт, то эти тайны решаются поэтическими средствами — подбором всех понятных слов, упругим ритмом, точно расставленными акцентами, и все таким образом (а в этом и заключен секрет мастерства), что вслед за автором мы начинаем ощущать "жизнь — волшебством и солнце — божеством".

И что удивительно, простые слова, кажется, уже затертые от повседневного употребления, начинают заново блистать каким-то новым блеском.

— Не сетуй, человек,
На жизни скоротечность,
Пусть короток твой век,
Но ведь за веком — вечность,
И жизнь твоя — не миг,
А вечности частица,
К которой ты приник,
Чтоб навсегда с ней слиться.

Строки взяты из стихотворения "Песнь земли", которое с полным правом вслед за Гете можно было назвать — "Гимном природе". Но это противоречило бы поэтике автора, и он нашел ему единственно точное название.

Своеобразие поэзии О. Маслова имеет глубокие жизненные основы, ее корни уходят в его профессию врача. Напомним, первый сборник, вышедший более 20 лет назад, так и назывался "Моя профессия".

Все, чем я счастлив, чем страдаю,
Тебе во всем обязан я,
Моя профессия родная,
Жизнь беспокойная моя.
Я присягнул тебе когда-то,
И навсегда душа верна
Высокой клятве Гиппократу,
Как ни тяжка порой она.

Стихи о профессии врача определили и название сборника “Передний край”. Автору, который “надев халат врачебный свой, встал” под знамя Гиппократата”, “судьба нежданно приоткрылась своей счастливой стороной”.

Счастливая сторона жизни автора обернулась благодатной основой и для его творчества. Я затрудняюсь назвать другого поэта, кто посвятил профессии врача такие искренние, теплые стихи: “Врач”, “Руки хирурга”, “На вызов”, “На скорой”... Впрочем, в перечислении названий стихов нет особого смысла. Важно другое. Профессиональное начало постоянно подпитывало поэтическое творчество, и — беру на себя смелость утверждать — увлечение поэзией способствовало углублению профессионального мастерства.

Я думаю, что это редкое сочетание, сочетание двух творческих начал в одном человеке — поэзии и медицины или какого-то иного сочетания профессионального мастерства с поэзией — неременное условие обогащения самой поэзии. Впрочем, об этом немало написано отечественными и зарубежными исследователями. И несомненно, интерес читателя вызовет оценка такого явления самим поэтом:

В каких бы жизненных теснинах
Я лба себе ни расшибал,
Меня спасала медицина,
И ямб крылатый поднимал.
Я полюбил и то, и это
Одной любовью в звездный час —
И лиру звонкую поэта
И чашу звонкую врача.
Не погрешу на славословье,
Но утверждать всегда готов:
Нет краше песни, чем здоровье,
Бальзама — лучше верных слов.

Трудно усомниться в искренности этих слов. А две заключительные строки — почти афористичны. В них и мудрость пережитого, в них простота поэтического мастерства. Таких строк у О. Маслова немало, они легко запоминаются.

Стоит перелистать сборники, чтобы воочию убедиться в этом:

Как ни суди житье-бытье —
Оно в веках проверено:
Что людям отдано — твое,
Что спрятано — потеряно.

Или:

Хоть словом, взглядом обнадежь...
Но ты молчишь и смотришь хмуро —
Ведь правды горькая микстура
Целебней, чем любая ложь.

Или:

И верь, что разнесет
Все тучи ветер встречный...
Ведь туча — эпизод,
А небо с солнцем — вечны.

Разговор о творчестве Олега Маслова был бы не полон, если бы мы обошли молчанием географические корни его поэзии. Мне думается, этого автора, живущего в Благовещенске-на-Амуре, уж никак нельзя зачислить в реестр сугубо амурских поэтов. Не уместится как-то, тесны строго ограниченные рамки. А уж побывать-то ему довелось и в Европе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сказанное совершенно не означает, что у него нет стихов о Приамурье, которое он не променял бы ни на что на свете. Есть у О. Маслова стихи и о Благовещенске, и о больших стройках, об амурских селах. Мне особенно нравится одно из последних стихотворений “деревенской” тематики. Прочитую выборочно некоторые строфы:

— Где ж экзотика Востока,
Где амурский колорит? —
То Полтавка, то Тамбовка,
То Ивановка дымит...

.....

А по долам хлебопашным,
По берегам великих рек
Основали предки наши
Села русские навек,
И, храня отчизне верность,
В память дедовской земли
Именами всех губерний
Эти веси нарекли.
Так, без всякого засилья
Отразилась, и вполне,
География России
На амурской стороне.

Несколько лет назад О. Маслов в составе творческой делегации Амурской области побывал в Туркмении. Впервые увидел необыкновенный пустынный край, знаменитую Кушку, Копет-Даг. За границей — Иран, когда-то загадочная Персия. Закончилась поездка, и спустя какое-то время мы прочитали новые стихи, в которых ожили образы златокудрого Есенина, прекрасной Лалы, Шаганэ. В этих стихах весь О. Маслов. Вслушайтесь в них:

И было так желанно
Взглянуть хотя бы раз
На розы Хорасана,
На песенный Шираз,
Услышать звук дутара,
И вьявь, а не во сне,
Предаться сладким чарам
Прелестной Шаганэ.

Прекрасно, не правда ли? Только человек совершенно бесчувственный не оценит обаяния этих строк.

В сборниках Олега Маслова мирно соседствуют стихи об Испании — а в них герои Сервантеса Дон-Кихот и Санчо Панса, первооткрыватель Америки Колумб — с вполне “домашним” стихотворением “Дачное”, строки о рыбной ловле в Приамурье — со стихами, воскрешающими историю России: “Коломенские дубы”. А рядом — сонеты, миниатюры. Так все, по-видимому, и должно быть. В этом соседстве, в этом многообразии впечатлений — суть поэтической основы, ее начала. Думаю, далеко не случайно первая часть сборника “Лицом к лицу” озаглавлена “В гостях и дома”. Не нужно громко кричать о своей любви к отечеству, но тонко подметить, что возвращение — из путешествия, изгнания или рядовой командировки — к своим родным и близким всегда подобно празднику — это одна из высших поэтических задач, которую убедительно и просто решает автор:

Только нет на свете и поныне
Уз надежней кровного родства,
Оттого и в каждом блудном сыне
Тяга к дому отчему жива.

Эти строки созвучны мыслям великого русского поэта Б. Пастернака. Вспомним “Доктор Живаго”: “Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек...”

Живет на Амуре российский гражданин О. К. Маслов. Он продолжает писать стихи и заниматься медициной. Он не боится высоких слов — порядочность, честь, добро. Он верит в существование этих черт в российском характере и доказывает это своим творчеством и своей жизнью, своей принадлежностью к русской интеллигенции, на чье великое предназначение в российском обществе указал большой русский интеллигент Г. Успенский: "... Интеллигенция! И слова-то этого множество разлагольствующего народа даже и не понимает путем; тогда как оно должно бы иметь самый определенный глубокий смысл... Интеллигенцию надобно понимать вне званий и состояний, вне размеров благосостояния и общественного положения. Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда одну и ту же задачу. Она всегда — свет, и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу".

Как говорится, точнее не скажешь... И думаю, не случайно в день 60-летия друзья подарили Олегу Константиновичу Маслову копию Роденовской головы Иоанна Крестителя. В этом был большой смысл: нести людям свет, поднимать обездоленных, внушать людям веру в добро.

Как это необходимо сегодня!

И поэт несет свой крест, выданный ему трудною, но счастливой судьбою.

Мой Красный крест, тяжелый крест,
Навек врученный мне судьбою,
Мне никогда не надоеет
Нести тебя перед собою.
Ты кровью светишься во мгле
И утверждаешь, что от века
Одна есть вера на земле —
В земную жизнь и человека.
У каждого над головой
Своя звезда в небесной стыни,
А у меня — мой крест земной,
Моя бесценная святыня.



* * *

Я в юности был правым стариком —
Воспитан в духе времени что надо,
Я знал бездумно чуть ли ни с детсада,
Что было, есть и сбудется потом.

Все интересы личные поправ,
Но к судьбам человечества участлив,
Назло врагам, я был фатально счастлив,
Поскольку исторически был прав.

Но счастье в том — теперь судить берусь, —
Что, хоть и оболванивший порядком,
В судьбе моей действительно был кратким
Стальным перстом указанный мне курс.

А все ж закваска даром не прошла,
И до сих пор, как генную преграду,
Крушу в своем сознание баррикаду,
Что классовая ярость возвела.

И хоть еще нет-нет да поделю
На “наших” и “не наших” мир единый, —
Все больше, невзирая на седины,
Постичь его пытаюсь и люблю.

И стала открываться не спеша
Всему, что ждет участия и совета,
Десятки лет таимая от света
Запретная субстанция — душа.

Кому пенять, что жизнь прошла в пустом
Горенье за великую идею?..
Я был когда-то умным стариком,
И лишь теперь, глупея, молодею.

1990 г.

* * *

Куда с безоглядностью детской
За новью ни двинешь порой...
Однажды на берег турецкий
Мы вышли российской гурьбой.

Пред тем, как душе на потребу
Пуститься по лавкам в распыл,
Коптили сограждане небо,
И я заодно задымил.

И вдруг подошел ко мне мальчик —
Почуя табачный дурман,
Воздел укоризненно пальчик
И внятно сказал: “Рамазан!”

Хоть был я наслышан заранее
От гидов, что нынешний март —
Тот месяц, когда мусульмане
При свете дневном не грешат,

Но что мне до них? А невольно
Злосчастный окурок гашу,
Молчу, как нашкодивший школьник,
И в сторону моря дышу.

Конфуз налицо, да к тому же
Как тут со стыда не сгоришь,
Когда седовласого мужа
Пристойности учит малыш!

Я выбросил прочь сигарету,
А память об этом грехе
Носил в себе скрытно по свету,
Пока не открылся в стихе.

1992 г.

ДАЛЯНЬ

И вновь меня пути скитаний
По зову сердца привели
К заветной пристани желаний —
На берег моря, край земли.

Так свеж и ласков встречный ветер,
Так мирно плещется волна,
И не представить, не приметить,
Что даже здесь была война.

А ведь была, и не однажды,
И не чужая, а своя,
И там, в России, знает каждый
Про эти дальние края.

Поныне в памяти и песне —
Цусима, Порт-Артур, “Варяг”,
А через сорок лет — возмездье
За попраный российский стяг.

Дрались отцы, сражались деды,
Не счесть вокруг родных могил...
Но где он днесь, венец Победы?
Кто побежден? Кто победил?

Прошла гроза над Ляодунем,
Рассеян дым, развеян мрак,
И над Далянем и Люйшунем*) —
Китайский пятизвездный флаг.

И хорошо под мирным солнцем,
Не помня зла, встречаться здесь
И россиянам, и японцам,
Когда хозяин истый есть,

Который встретит и приветит,
И даже вырастит цветы,
Чтобы врагов вчерашних дети,
Сейчас живущие на свете,
Могли их павшим принести.

... Лучистый шар над головою,
А море — глаз не оторвешь —
Лежит такое голубое,
Что Желтым и не назовешь.

1992 г.

*) Далянь — Порт-Дальний. Люйшунь — Порт-Артур

* * *

Не обуздать страстей природу —
Распад азартен, как разврат...
Народы рвутся на свободу,
А люди вместе жить хотят.

И, презирая боль и слезы,
Впадая в алчный нетерпез,
Страну живую без наркоза
Кромсает пограничный нож.

Корить народы непристойно
За самостийный выбор их —
Они и впрямь, увы, достойны
Строптивых лидеров своих.

И, разрывая братства узы,
Свободу славил бы и я,
Когда б в развалинах Союза —
Не жизнь, не Родина моя.

1992 г.

* * *

А небесным зодиакам
И кремлевские под стать —
Под каким родился знаком,
Под таким и помирать.

Каждый знак был мечен “измом”,
Кровью — каждая звезда...
Меркнут “измы”, но с вождизмом
Не расстаться никогда.

Знать, судьба у нас такая,
И роптать что толку зря —
Ведь не может быть земная
Жизнь без ада, смерть без рая
И Россия без царя.

1993 г.

* * *

Творя судьбу свою мирскую,
Я подрезал ей крылья сам:

Избрал профессию земную —
И путь заказан к небесам,

На верность присягнул кумиру —
И нет уже святынь иных...
Но подарил всевышний лиру
И заронил мне в душу стих.

И в звуках, робких и неясных,
Открылся строй души моей,
И все, к чему она пристрастна,
Само вверяться стало ей.

Любя походы и полеты,
Я обращался, как умел.
В землепроходца и пилота,
И в альпинизме преуспел.

Но все же главная отрада —
Учился я, вживаясь в роль,
Переживать чужую радость,
Переносить людскую боль.

Да сотворит себя творящий...
Теперь гадаю я о том,
А где я больше настоящий —
В своем ли облике, в ином?

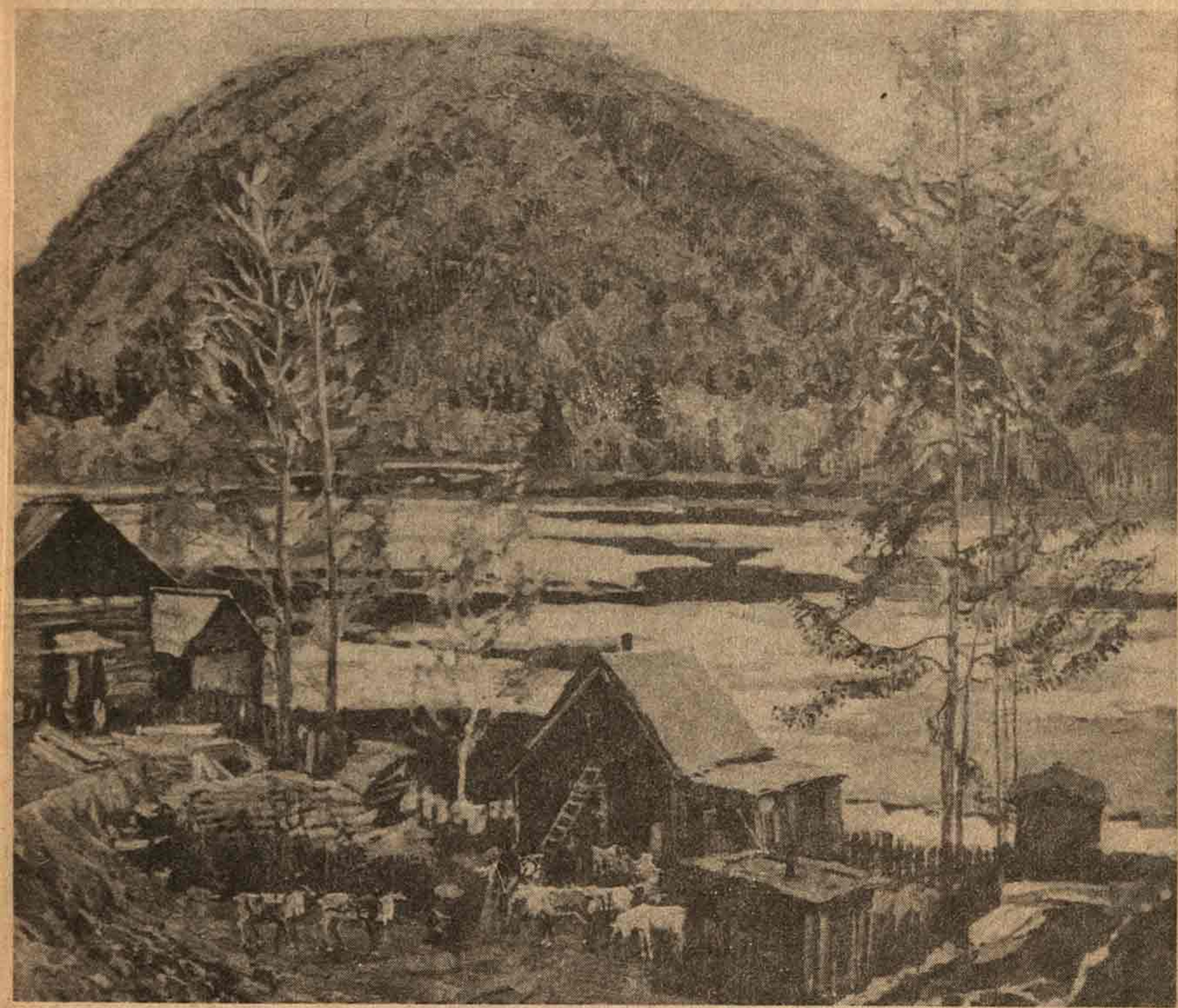
Не застыт ныне свет кумиры,
Открыты взору небеса,
И если стал я не от мира,
То в этом мир повинен сам.

Так, год за годом в напряженье,
Одолеваю день-деньской
Свое земное притяженье,
Чтоб удержаться над собой.

И хоть гнетет порой усталость
И душит быта кутерьма,
Но не страшат ни хворь, ни старость,
Ни жизнь, ни даже смерть сама.

1992 г.

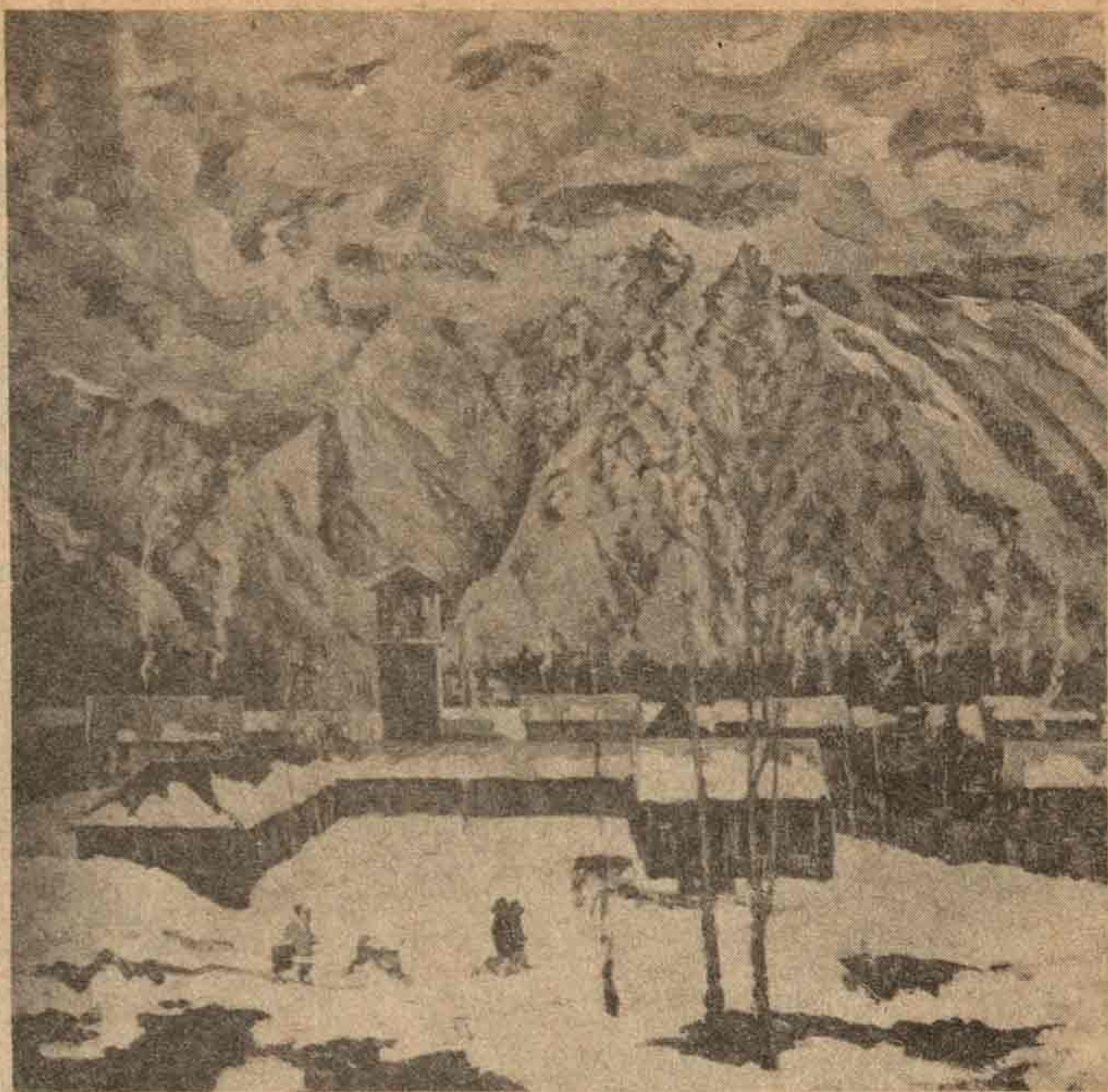
РАБОТЫ АМУРСКИХ ХУДОЖНИКОВ



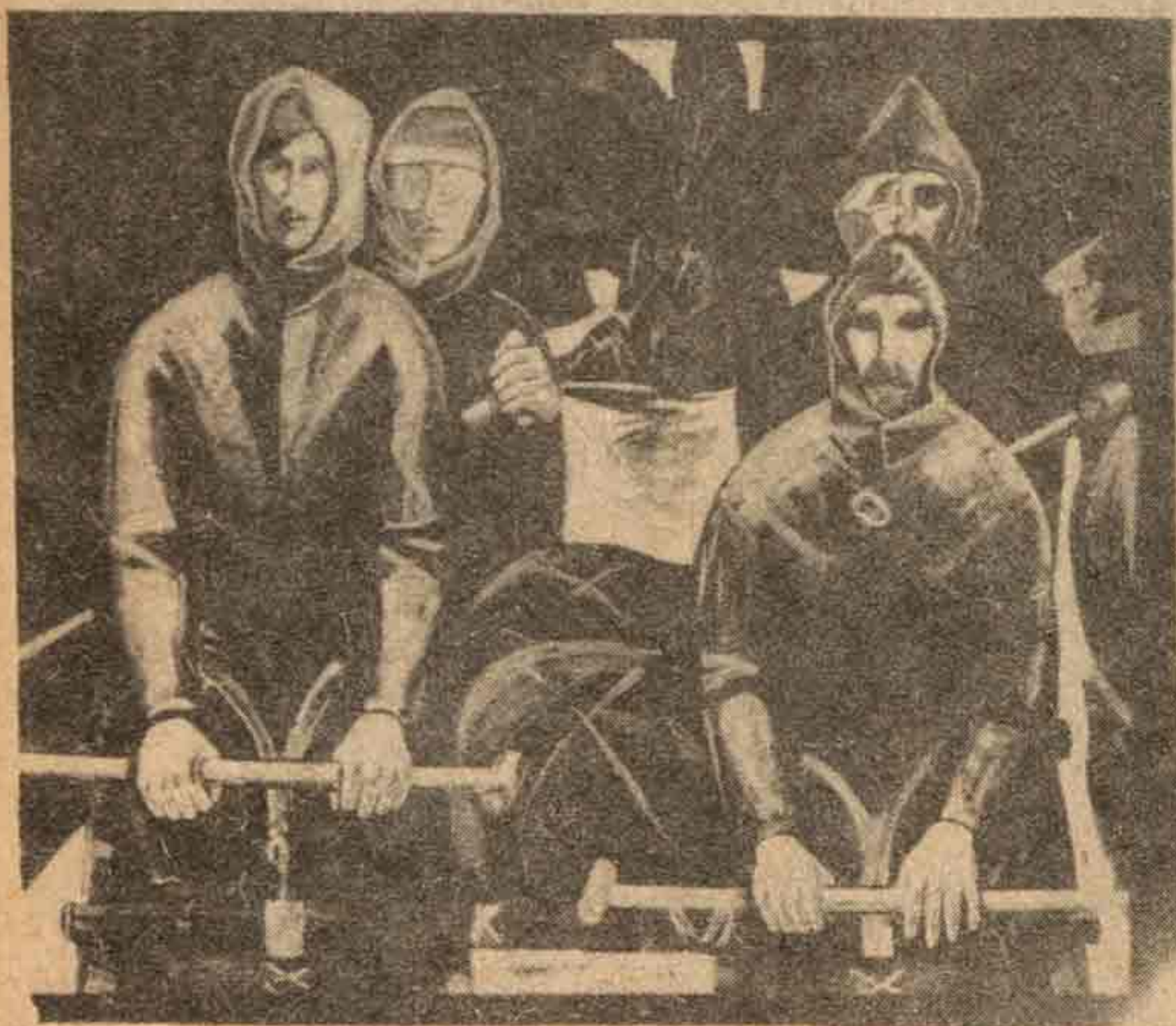
В. СТОГНИЙ. Весна в Усть-Нюкже. Масло.



В. ЖУКОВА. Осеннее кружево. Масло.



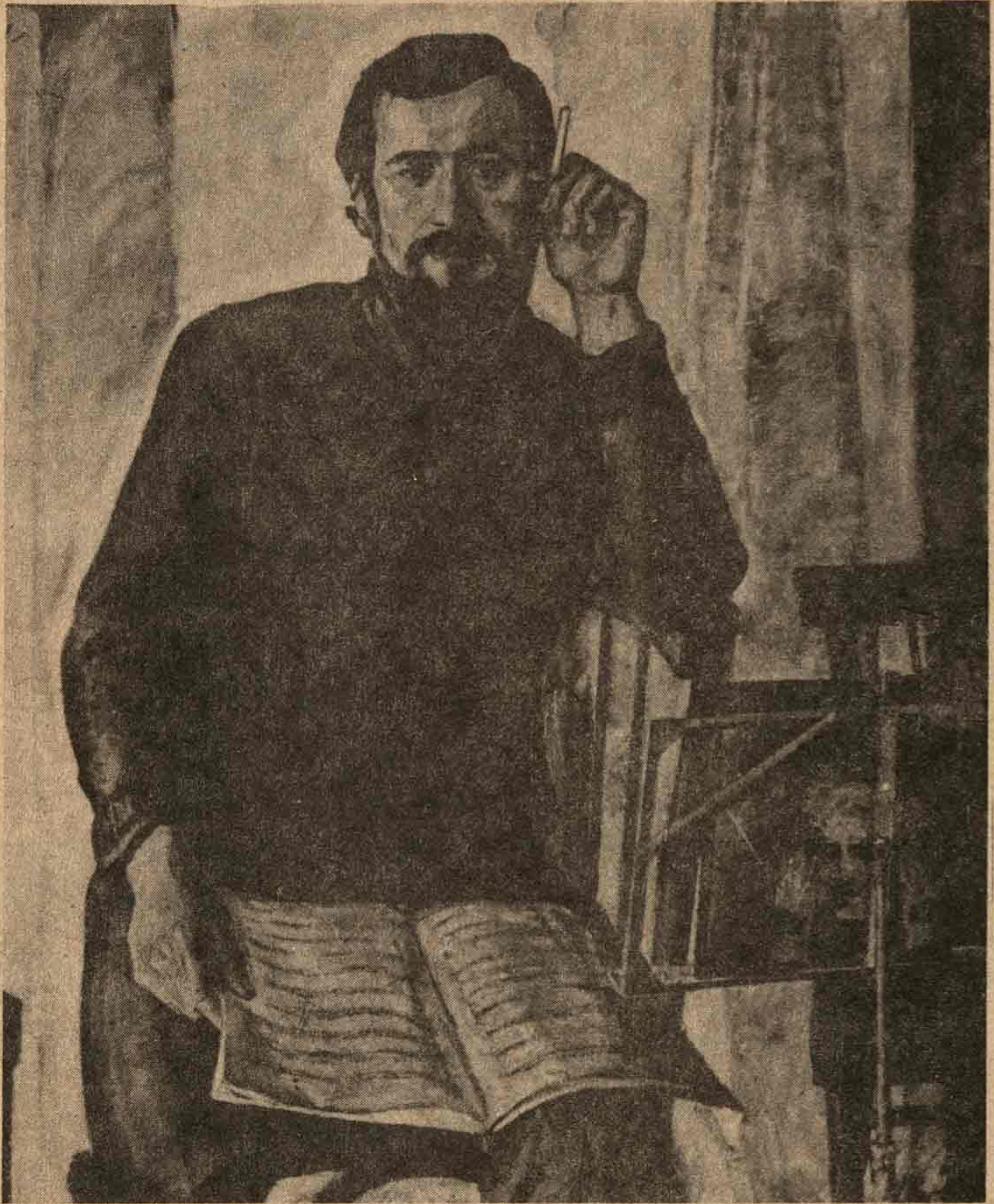
В. СУРИКОВ. Школа в поселке Экимчан. Масло.



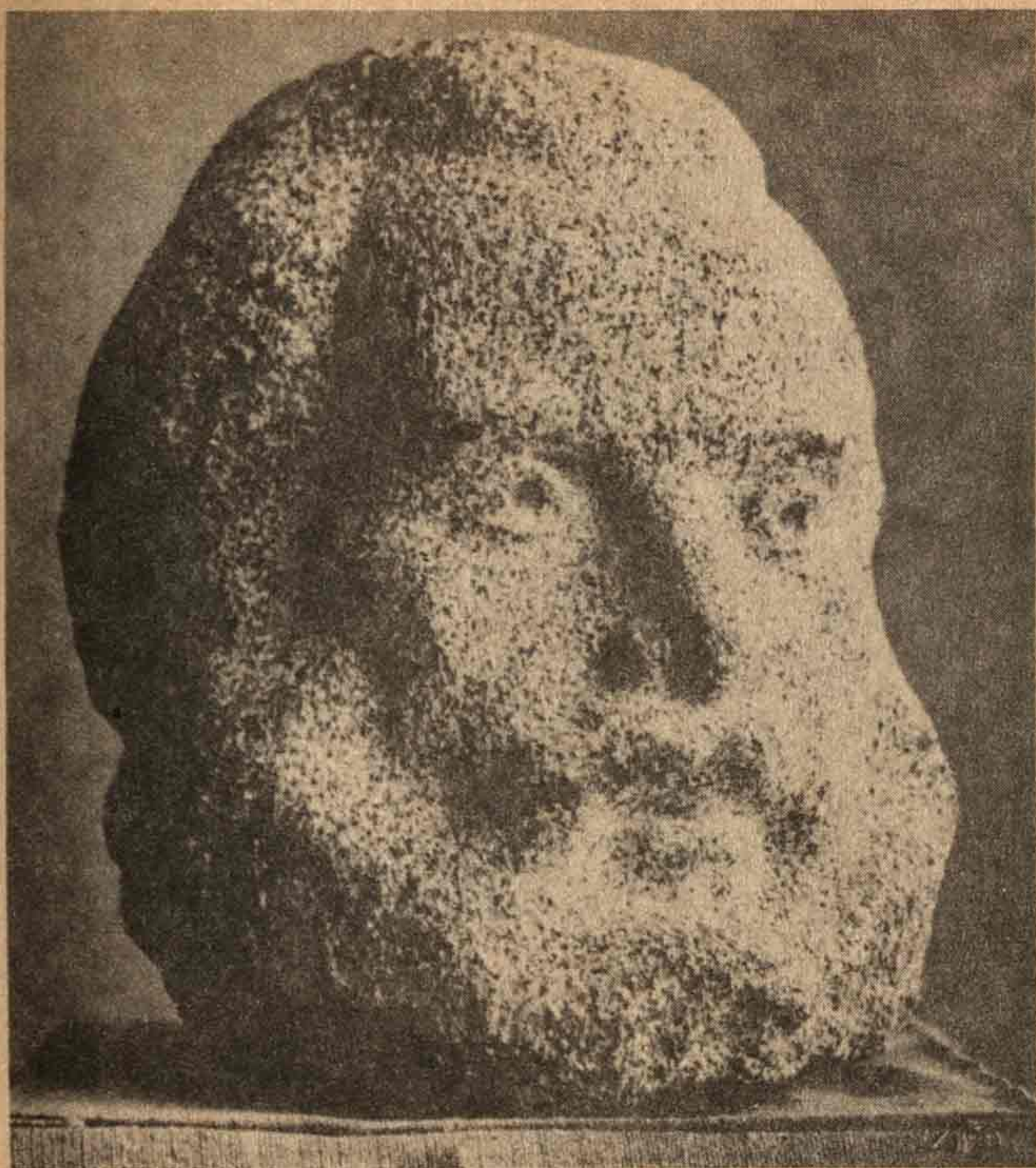
А. ТИХОМИРОВ.
По Току.
Оргалит, темпера.



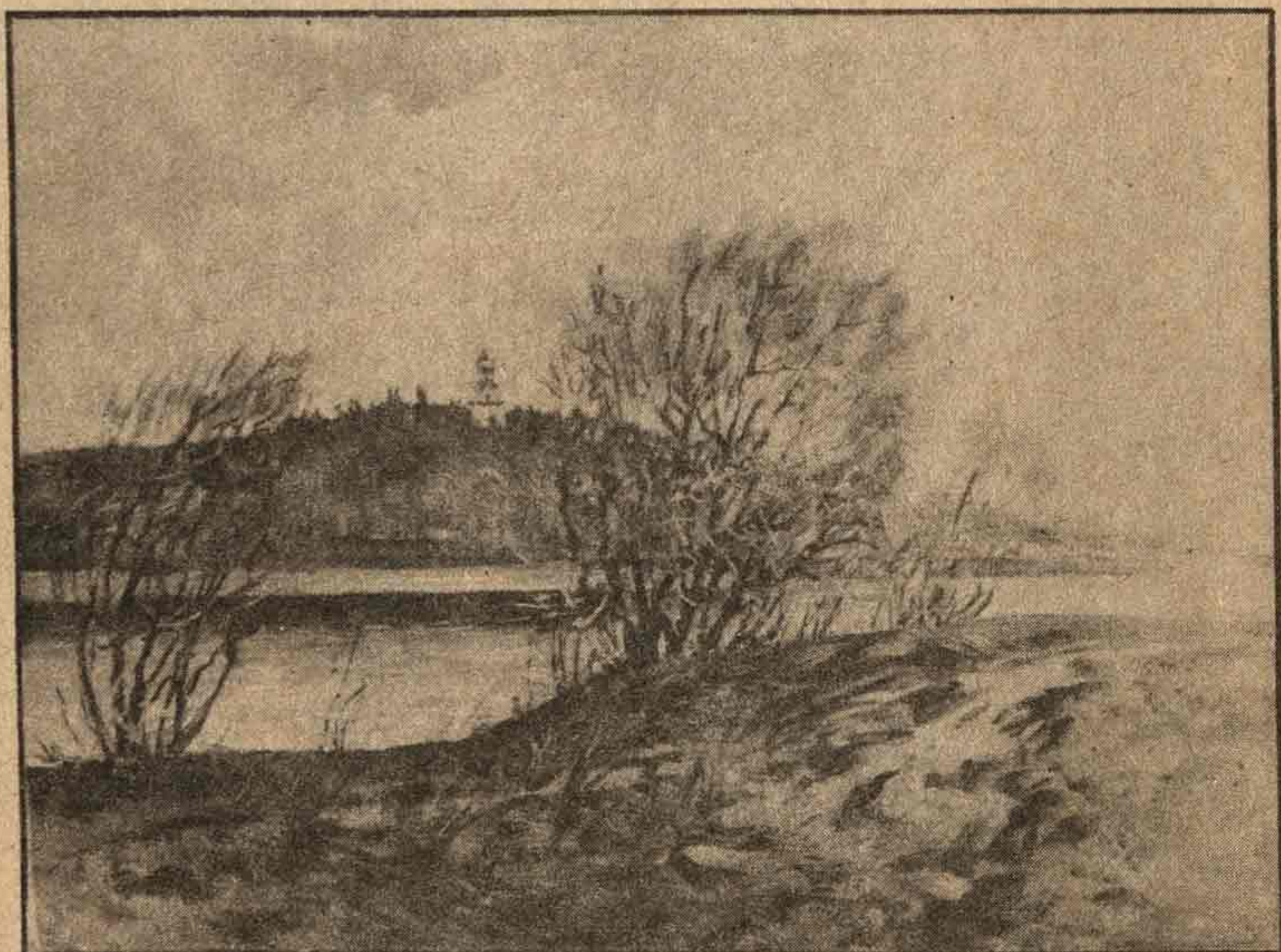
А. ТИХОМИРОВ.
Материя первична?..
Холст, темпера.



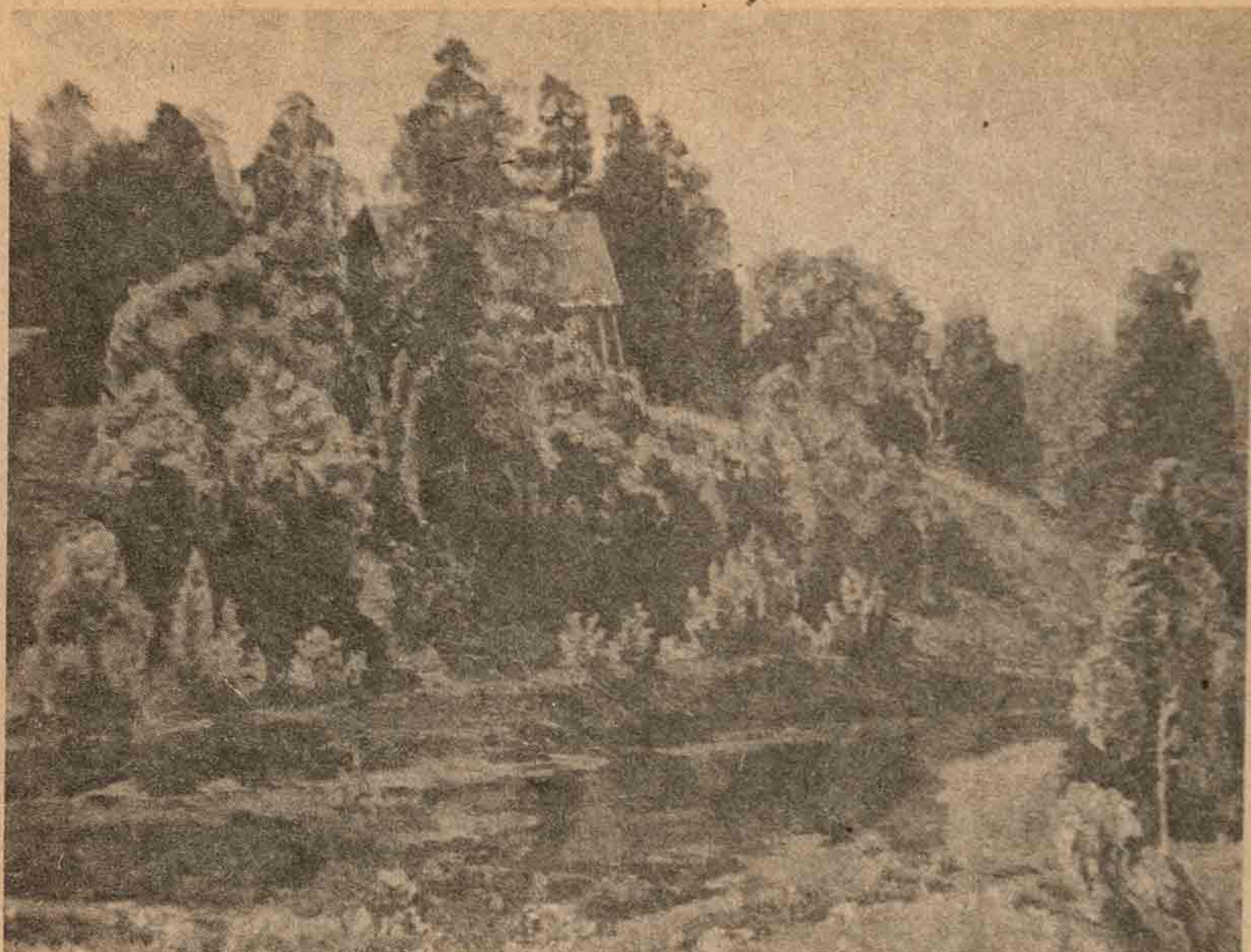
А. ЖИГАЛОВ. Портрет дирижера. Масло.



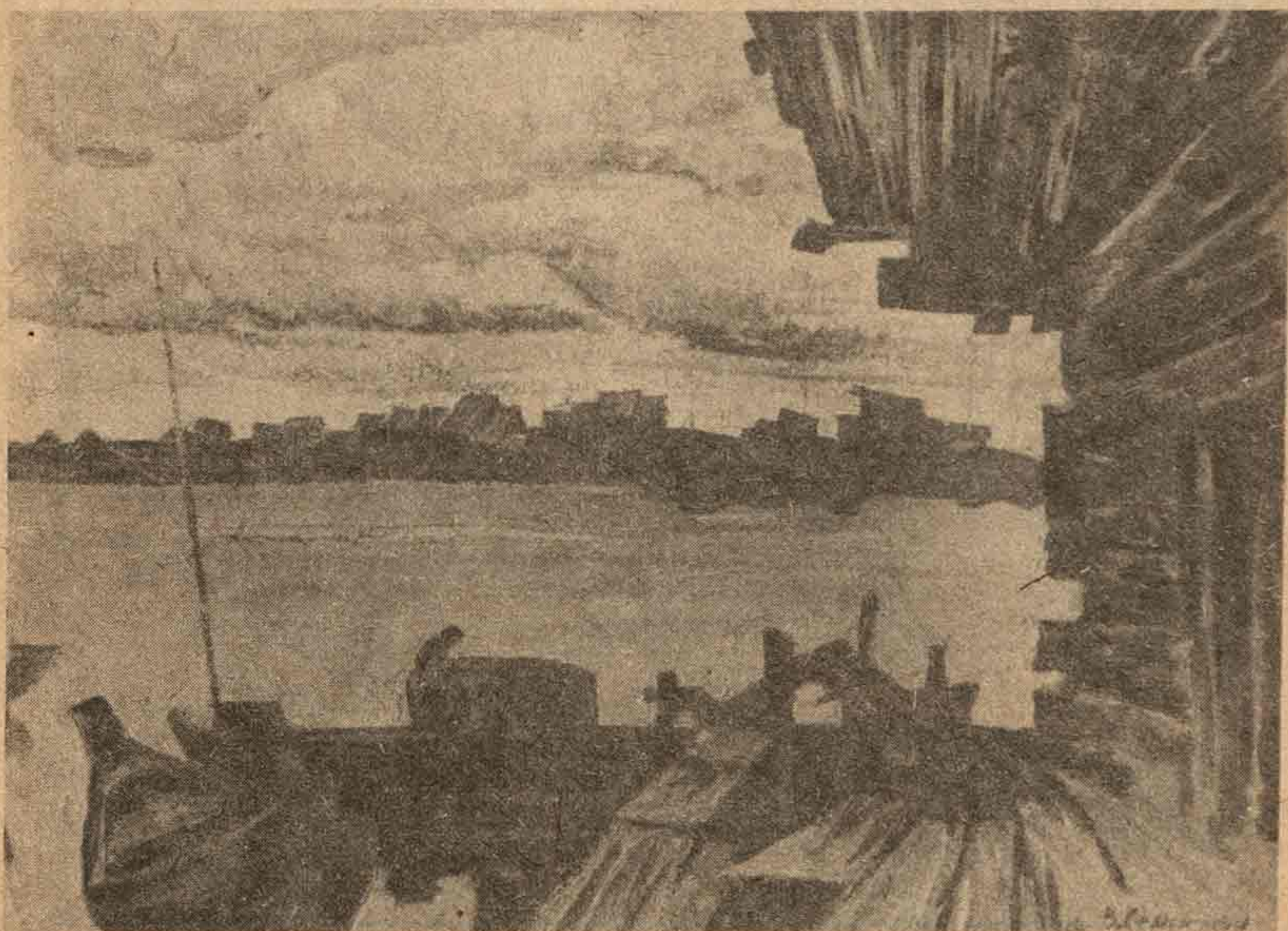
Н. КАРНАБЕДА.
Таежник.
Гранит.



В. ВОДЯНИН. Весна. Масло.



Ю. НАКОНЕЧНЫЙ. Лето на академической даче. Масло.



В. СЕМЕНИХИН. Перед выходом в море. Масло.



Н. ГЕЕЦ.
Женский портрет.
Мрамор.

В. КРАСНИКОВ.
Бегония.
Масло.





В. КОНДРАТЬЕВ. "Не пошла я нынче замуж..." Офорт, акварель.



Н. САВЧЕНКО.
Живописец. Из серии "Пятна".
Тушь, перо.



С. ПОПОВ. Бабушке моей
Елизавете посвящается.
Масло.



Н. Старновская

ПРОСТИ

Прости за то, что зов твой не услышала,
Прости, что боль твоя до сердца не дошла.
Прости, что ничего у нас не вышло,
Прости, что я тебя не сберегла.

Прости, что не пришла, не проводила,
Не обняла, как все, в конце пути.
Прости за то, что так тебя любила.
Прошу, за все прости меня, прости...

А. Чернова

* * *

Хожу по залам выставки, и странно:
Тихонечко позванивают ветви
Прозрачным льдом,
И воздух чист и свеж,
И пахнет сакурой цветущей.
Кораблик, тающий в тумане,
Ведет меня в глубины лет.
И я иду.
По узеньким лесным тропинкам,
По синим неприступным скалам.
Перед великою китайскою стеной
Стою, грустя и изумляясь,
И вслушиваюсь в клекот журавлиный...
Когда, в каких веках
Я в той стране жила?
И почему мне кажутся родными
Пейзажи эти?

Что я в них нашла?
Воробушек притихший на снегу...
И здесь, и там — одни клюет он зерна.
На левом и на правом берегу
Свет в окнах.
И одни и те же звезды.

Ю.Магницкий

ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Вот опять качаются
на качелях розовых
Дни такие синие,
как ее глаза.
Облака проносятся майскими
мимозами,
А дождинки — свежие,
как в лесу роса.
Мне учитель физики
отдает записочку,
Говорит настойчиво:
“Маме покажи!
Ты зачем приклеил
сладкую ирисочку
К классному журнальчику?
Пусть зайдет, скажи!”
Из записки маленькой
получился маленький,
Очень замечательный
белый самолет...
Педагоги школьные
/может, сам Макаренко/,
Смотрят ошарашенно на его
полет.
А они не ведают, что
меня заставило
Стать для всех отверженным, —
всем постыл-немил...
Снова литераторша “двойку”
мне поставила,

А физрук торжественно
 “колом” пригрозил.
Я ж зимой недавнею слыл
 хорошим мальчиком,
А теперь я — двоечник,
 повод для острот...
Что случилось с мальчиком?
 Что случилось с мальчиком? —
Громко удивляется
 тутошный народ.
Я едва домой влечу голубем
 затравленным —
Дома мама с папою
 проливают свет:
“Больше ты не сын нам,
 хулиган отъявленный!
Завтра собирается в школе
 педсовет!”
Вот и начинается,
 вот и продолжается
Этот, посвященный мне,
 грозный педсовет...
Я держусь мужчиною —
 как и полагается —
Мне ж зимою стукнуло
 аж тринадцать лет.
Я стоял в учительской,
 как солдат у знамени,
Гордо вскинув голову.
 Им я не сказал,
Что Фоменко Танечку,
 полюбивши пламенно,
Мая двадцать третьего
 я поцеловал!

И. Молянов

ГОРОД РОДНОЙ

Прохожу по улицам
В предвечерний час.
Ветер тихо кружится
И танцует вальс.

Город к небу тянется,
Раздается вширь.
По асфальтам глянцевым
Шум автомашин.

Сколько песен сложено,
Зея, о тебе!
Радость приумножила
Ты в моей судьбе.

Так же, как сегодня,
Как вчера — всегда
Ты — частица Родины,
Ты — моя звезда.

Здесь с любовью встретился,
Здесь нашел друзей.
Ты, как мать - советчица,
С каждым днем родней.

Прохожу по улицам.
Зея, ты со мной,
Мне с тобою дружится,
Город мой родной.

А.Куртин

Затерян малый огонек
Среди таких же одиночек,
Уединяясь, он клокочет,
Иль тлеет, будто уголек.

Ему бы ангелом парить,
Держать невидимые нити,
В руках божественных открытий
А он... навечно одинок.

Угасни пламенный рассудок,
Безличен перечень имен,

Увы, у тех, кто был умен
Во все века пустой желудок,
А тот, кто сыт, - души лишен.

Н.Гаськова

* * *

Разноголосица вокзалов —
Разнополосица судеб...
Но это все-таки не мало —
Жевать буфетный черствый хлеб.

А стук колес не знает боли
И состраданию не учен.
О, сколько с ним мы съели соли!
Уже изжога. Об-ре-чен.

А обреченным не пристало
По мостовым каблучить степ.
И все же это так не мало —
Буфетный мой, насущный хлеб.



ЛЮБОВЬ ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Рассказ

Сомнительную бутылку чачи он купил у источника. Был самый пик “водопоя”. Мозаичная санаторная публика совершала свое бронуновское кружение вокруг бювета. Все было степенно, циклично и даже с какой-то обрядовой таинственностью. Лишь в местах торговли, вокруг энергичных кавказцев, иногда всплескивал бурлящий водоворот покупательских страстей и примерочных прикидок. Да две охрипшие тетki из конкурирующих фирм по очереди выкрикивали через постоянно отказывающиеся мегафоны из разных углов о всех прелестях автобусных путешествий по чудеснейшим местам кавказских Минеральных Вод.

Мамалыгин, подыскивая желтые хризантемы, наткнулся на щетинистого деда, у которого на перевернутом ящике вместе с цветами стояло и несколько наполненных бутылок, прозванных в народе “чебурашками”, безобразно заткнутых газетными скрутками.

— Что это?

— Чача, — хрипло донеслось из-под кепки.

Шел мелкий дождь. Мамалыгин подумал, что и в этом году не повезло с погодой, и взял бутылку в руки. Брезгливо вытянул намокшую газетную затычку, понюхал.

— Попробуй, дорогой, — откликнулась кепка. — За пятнадцать отдам.

“По-божески”, — отметил Мамалыгин и сунул деду три пятерки. Прикрыв чачу цветами, он отправился в корпус, размышляя, что приехал недавно и стесняться еще некого.

В дверь постучали. Мамалыгин вздрогнул, но то была не она. Это зашел Юсуф, сосед по комнате.

— Водичку попил, пойду на ужин, — степенно доложил он. — Как договорились, Юра, вернусь в двенадцать.

— Хорошо, хорошо, Юсуф. Спасибо. — А про себя раздраженно: “Сколько можно договариваться, весь день об этом талдычу”.

Но Юсуф не торопился уходить. Вытащил широкий чемодан, положил на кровать, чуть приоткрыв крышку, засунул внутрь руку и долго шелестел там, словно выискивал что-то в сухой листве.

— Вот, Юра, возьми невесте, — и протянул кулечек с вываренными в соли абрикосовыми косточками.

Пощелкал чемоданными замками, постучал дверками шкафа, намереваясь еще что-то сказать, но, наткнувшись на Мамалыгинскую нетерпеливую замкнутость, промолчал и вышел. А Мамалыгин высыпал косточки на стеклянную кувшинную подставку, еще раз окинул взглядом стол и подосадовал за шашлык, уже давно холодный и подернутый стылой свечной пленкой бараньего жира.

Познакомился он с ней вчера утром, когда его подсадили, наконец, за столик с его диетой. Она тоже была “поджелудочница”. Очень симпатичная блондинка с карими, пронзительно-живыми глазами. Он еще отметил, что даже если бы она была лицом дурнушка, только из-за этих умных глаз стоило познакомиться. Звали ее Катя. В обед он с ней заговорил и предложил съездить в Кисловодск на электричке.

Горы укрывал морозящий туман, народу и экскурсий в парке было мало, а хвойные деревья влажно блестели, оттеняя желтизну непривычно пустынных терренкуровских дорожек.

Ходила она с удовольствием, напряженно и быстро, и в таком темпе они рывком поднялись к канатной дороге, но та почему-то опять, как и в прошлом году, была на ремонте. Мамалыгина это огорчило. Теперь уже потихоньку они обошли пустынный “Храм воздуха”, забрались на какую-то вершину, и Катя нашла в еще зеленеющей траве какой-то желтенький цветочек.

— Юра, это не эдельвейс? — спросила она.

Цветочек больше походил на клевер, о чем Мамалыгин и сказал.

— Конечно, — согласилась она. — Просто я люблю желтые цветы.

Когда стемнело, они спустились к вокзалу, а потом прошли на проспект к фонтанам. Зашли в кафе и заказали мороженое.

Со сладостно-тоскливым чувством неповторимо-уходящей жизни Мамалыгин смотрел сквозь стекло на радужные стреляющие струи фонтана, на искрящиеся от цветных отблесков волосы красивой, сидевшей с ним женщины, которая говорила, что живет и родилась в Риге, — отец там после войны остался, — что у нее есть муж и дочь, что их улицу переименовали, что муж гуляет, и она ужасно боится СПИДа, что по знаку Зодиака она Скорпион, и зав-

тра у нее день рождения... И когда он предложил отметить этот день у него в комнате, сразу согласилась.

Вошла она без стука: уверенно и упруго внесла себя к нему в комнату, и это было внезапно, и он вновь ощутил приятную счастливость от зыбкой пограничности их отношений.

— С днем рождения! — Он поцеловал руку и несколько придержал ее у своей свежесбритой щеки. Но нет, рука совсем не напряглась, не отдернулась, не заостенела, и он понял: она приняла его игру, они вместе забалансировали над некой, неопределенной пока, возможностью...

— Старый горец сказал, что это чача, — Мамалыгин поднял стакан.

Она понюхала и засмеялась:

— По-моему, это самая обычная Марья Дэмчэнко...

— Что за Мария?

— А была такая... Знаменитый свекловод. — Она еще раз понюхала. — Обычный буряковый. У меня отец хохол, и в этом разбирался... А тебе, Юра, можно?

Мамалыгин помял солнечное сплетение, словно прислушиваясь к своей поджелудочной:

— Я угробил себя на службе и совсем не этим делом.

Они выпили. Мамалыгин передернулся от противности этого пойла и вгрызся сразу в сочно-железистую мякоть хурмы.

— А где твой узбек?

— Ушел в ваш корпус пить чай с земляками. И попросил угостить тебя орешками. — Он быстро расщепил несколько остро-вертикальных косточек, отряхнул пальцы от соляной пудры и плеснул в стаканы еще этой неведомой жидкости.

— Ловко у тебя получается, — улыбнулась она.

— Что именно?

— Ну и то, и это... — Она разжевала орешек. — Вкусно, но горчит... Споить меня хочешь? — в лоб спросила она.

— Да, нам же по семнадцать лет, — ответил Мамалыгин и взял ее за руки. Она подалась к нему. Ее умные глаза подтаяли, острота взгляда расплзлась по повлажневшему зрачку, и, прежде чем Мамалыгин прижал ее к себе, сказала:

— Выключи свет и ложись в постель.

Когда он подошел к выключателю, она, порывшись в сумочке, окликнула:

— И вот возьми, пожалуйста, он импортный... Я, действительно, боюсь. Я сейчас всего боюсь... И не обижайся... — и, протянув ему презерватив, направилась в ванную.

Он услышал над собой ее дыхание, роскошные пахучие волосы

ворохом упали ему на лицо. Он сплел свои пальцы у нее на затылке и потянул ее мягко на себя, ощущая ее ждущие, размякшие губы. И когда его всего обволокло блаженство и он входил в него уже неосознанно, как в первый и последний раз, он с ужасом отметил, лаская ее, исступленно ему отдающуюся, что у нее нет груди, и она это контролирует сейчас, и ловит его руки, и заводит их себе за голову, шепча ему в грудь давно не слышанные Мамалыгиным чудные и нежные слова...

Когда она вышла из ванной, Мамалыгин лежал еще в постели. Свет она не включила и присела к нему на кровать. Из холла доносился телевизионный хохот: шла очередная серия "Маппет-шоу". Туман, похоже, рассеялся, и в окно были видны тлеющие огни Пятигорской вышки телецентра.

— У тебя с балкона и Эльбрус видно?

— Не знаю... Как приехал, все время плохая погода.

— А у меня северная комната. Ты пригласишь меня, как распогодится?

— Обязательно.

— Вначале одну удалили, — без перехода стала рассказывать она. — А три года назад и вторую. Про мужа я наврала, он меня сразу бросил... А мне еще и сорока нет, — грустно добавила она.

— Он русский? — зачем-то спросил Мамалыгин.

— Да... Несколько лет мужчин не было. На себе крест поставила. Но подруги меня решили вытянуть. Первый раз я в прошлом году поехала в санаторий, в Одессу. Куда путевки достанут. Вот в этом году выпали Минводы... Попробуй, говорят, если будут соблазнять — не отказывайся. Первый раз трудно было... Но я ожила. Тот, который до тебя сидел за нашим столом, даже замуж предлагал.

— Ты и с ним спала? — не выдержал Мамалыгин.

— Нет, он мне не нравился... С другим спала, но он уехал. — Она предупредительно приложила ладонь к его губам. — Ты не обижайся. Мне, может быть, и жить всего ничего осталось. Но я оклемалась, понимаешь... Оклемалась! И дочь моя это увидит, и обрадуется. Мы с ней конфликтуем последнее время. Она подросток, и моя ущербность ее угнетает.

— Отвернись, пожалуйста, — попросил Мамалыгин и стал одеваться — Так у тебя и поджелудочная не болит?

— Нет.

— Тогда давай выпьем.

— Мне сегодня тридцать девять...

— Будь здорова! — он нежно поцеловал ее. — Извини, а вот это что? — и он осторожно притронулся к выпуклостям под свитером.

— Муляжи, что-то вроде самодельных протезов, — и она горько рассмеялась. — А как женщина я тебе ничего?

— Блеск! Одни твои волосы чего стоят... — Он залпом выпил и набил обожженный рот холодным шашлыком с подвявшими кружочками лука. — Ты не против, если от меня будет пахнуть луком?

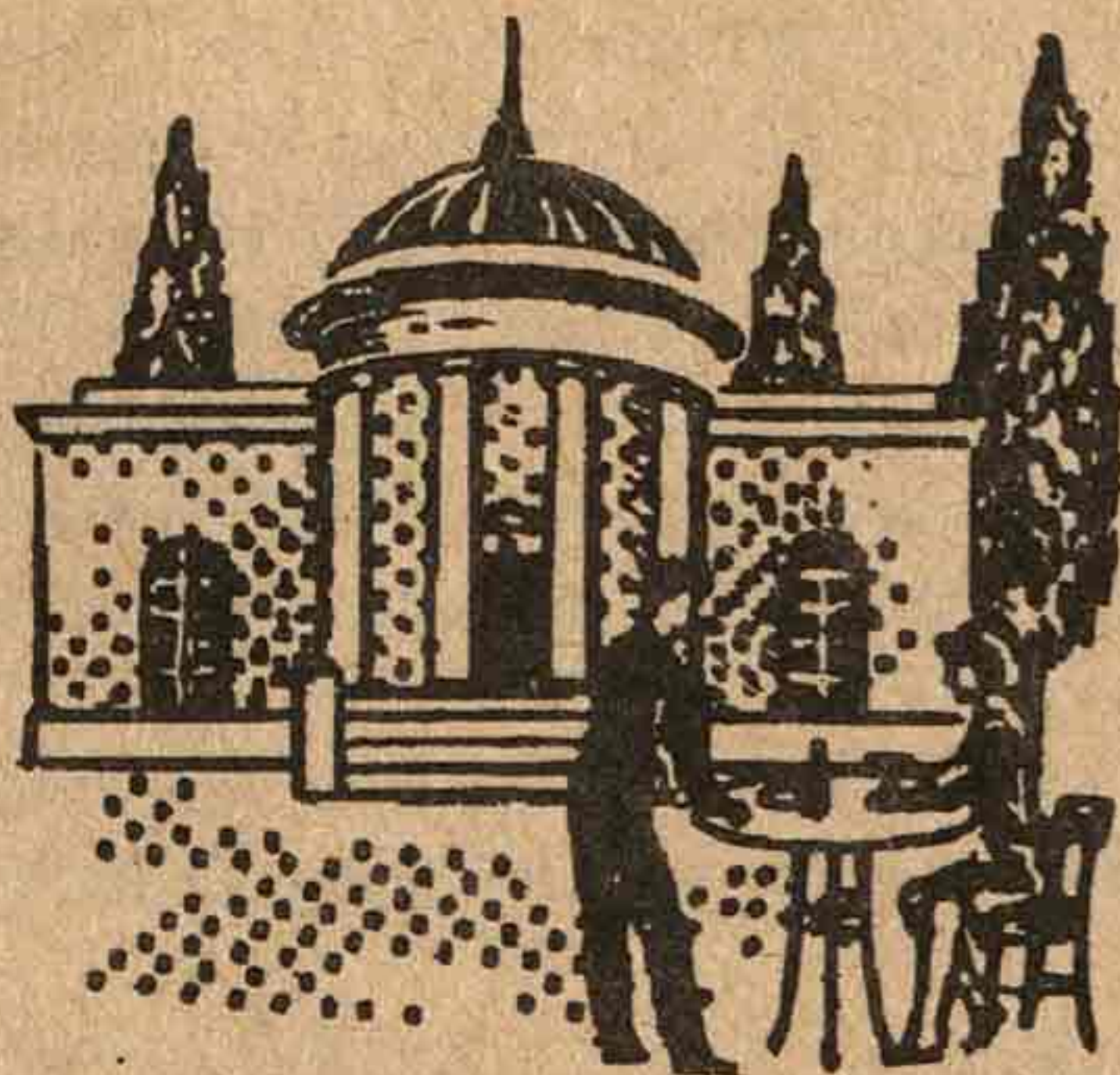
— Ради бога, ты же мужчина...

Он проводил ее без четверти двенадцать. Перед этим она помыла нехитрую посуду, убралась на столе, прилежно, как солдат-первогодок, заправила постель, и уже у двери сказала:

— Ты меня, Юра, не бросай, пожалуйста. Мне осталось-то пять дней, — и, пряча порозовевшее от любви и чачи счастливое лицо в рассыпчато-желтые хризантемы, шагнула в коридор.

Мамалыгин сразу уснул и не слышал, когда пришел Юсуф. Утром он спал долго. Пить воду не пошел. В свое время не пошел и на завтрак. Долго стоял на балконе, смотрел, как медперсонал, одетый в черные фуфайки поверх белых халатов, собирает опавшие листья. Отсюда, с восьмого этажа, работающие походили на монахов и монашек, прибирающих монастырское подворье. Над большими деревьями и крышей водолечебницы кружились стаи мокрых ворон. В воздухе снова висел морозящий туман и окрестных гор не было видно.

Когда в столовую потянулась на завтрак вторая смена, Мамалыгин спустился тоже, подошел к диетсестре и попросил, чтобы его перевели в эту смену. Так, объяснил он, ему будет удобнее...





ТУМАНЫ СЕВЕРНОГО КРАЯ

Идут дожди. Листок резной
Увяз в грязи наполовину.
На нивах августовский зной
Оставил мокнуть паутину.

Она повисла здесь и там,
Без солнца тихо догорая...
А ветер тянет по кустам
Туманы северного края.

* * *

Звезды мирно спят в затоне.
Но, предчувствием объят,
На рассвете тяжело стонет
Старый яблоневый сад.

На исходе летней ночи
Он, вздыхая и кряхтя,
Каждой веточкой пророчит
Приближение дождя.

* * *

Срок нашей жизни ограничен строго,
Но эта жизнь безмерно хороша.
И потому пусть стелется дорога,
Когда в дорогу просится душа.

Я птиц не трону в роще белоствольной,
Не трону изумрудную траву.
А если сердцу станет очень больно,
Приду я к ним - и снова оживу.

ОХОТНИК

Густой туман в лощину влез,
И, черно-бородатый,

Идет с ружьем наперевес
Болотный завсегдатай.

Не хочет в городе он жить,
Давно забросил дело.
Но грязь болотную месить
Ему не надоело.

Наш друг охотиться горазд,
С утра махнул на дачу.
Он за охоту все отдаст
И ...своей трофеей впридачу.

* * *

В синем холоде лунного света
Поезда убегают в тайгу.
Почему-то спокойно на это
Я сегодня смотреть не могу.

Может быть, потому, что судьбою
Мне отмерено мало дорог.
Может быть, потому, что с тобою
Я опять помириться не смог.

ЖЕНЩИНЕ

В сердцах мы образ твой храним
(У наших жен - святые лики).
Не ты ль терпением своим
Мужчину сделала великим?

СТЕПЬ

Приезжий я. Но здесь я в доску свой
И знаю степь, как на руке пять пальцев.
Приветствуя упрямого скитальца,
Подсолнух мне кивает головой.

Я говорю подсолнуху:
— Привет!
Тебя еще не мучает простуда?

Тебя метлой не выметешь отсюда,
А мне вот до сих пор покоя нет.

Во все края пути мои легли:
Мир так загадочен и необъятен...
И есть еще немало белых пятен
На карте нашей матушки Земли.

Но день придет - мне шлаться надоест.
Тогда меня, седого пилигрима,
Из мест любимых, и злчных даже мест,
Потянет степь к себе неудержимо.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Белый парус повис над полем.
Слушай, мама, тулуп надень.
Купим чан, капусту засолим
И отпразднуем зимний день.

День хороший, и снег хороший:
Теплый, пухлый, сквозной-сквозной,
Будто кто-то смешал с порошей
Дым очажный и летний зной.

Хлопья падают густо и прямо.
Свет дневной на селе померк.
Снег летит... А мне кажется, мама,
Что земля поднимается вверх.

МОЕ СЕЛО

1

Еще темно. Еще покуда рано.
Зеркальный свет исходит от луны.
И в воздухе, упругом как мембрана,
Все голоса отчетливо слышны.
Деревня спит. Но спит деревня чутко,
Она должна проснуться до зари,
Едва лишь петушина побудка
Деревню потревожит изнутри.

2

Живет село расчетливо и мудро.
 Здесь стороной обходят праздный дом.
 Село трудом своим встречает утро
 И провожает каждый день трудом.
 Корова. Огород. Пчелиный улей...
 Пять ребятишек сонных на скамье...
 Все ждут отца.
 И здесь не потому ли
 Отцов зовут кормильцами в семье?

3

Такая доля наших матерей:
 Еще и петухи не открякали,
 А, встав с постели и забыв печали,
 Стараются все сделать побыстрее.
 И хочется, чтоб легче жизнь была,
 Чтоб женщинам заботы не мешали,
 Когда они, наряженные в шали,
 Идут на праздник улицей села.

4

Уже роса упала на деревья.
 Уже луна блестит, как снежный ком.
 И брат мой направляется в деревню
 По скошенному полю напрямиком.
 Превозмогая дрему и усталость,
 Он краем уха слушает меня,
 А сам переживает, что осталась
 Не сжатою полоска ячменя.

СОСУЛЬКИ

Серебряно-алы,
 Изогнуты ветром,
 Сосульки - бокалы
 На празднике щедром.
 Звенят бесконечно
 И бьются на части.
 И бьются, конечно,
 К веселью и счастью.



* * *

Романтики годов шестидесятых,
Мы верили, что через двадцать лет
Из обращенья будет ложь изъята,
Счастливый всем достанется билет.

Мы, выходцы поры послевоенной,
В землянках да бараках родились.
В “военку” мы играли вдохновенно,
И стенкою на стенку мы дрались.

Друг друга, изловчась, в дерьме валяли,
Но в голову не целились ногой,
И никогда тогда не позволяли,
Чтоб семеро лупили одного.

Родители мораль внушали мало.
Считали, что за лекцией уснем.
Учили по-другому: попадало
Ладонью, хворостиной и ремнем —

За порванную в драке телогрейку,
За дырку в новом купленном носке.
Часы “Победа” знали, а не “Сейко”,
Не на своей — на маминой руке.

Отцы тогда газеты вслух читали,
Особенно о культе, о былом.
И Сталина портреты не вставляли
В автобусах за лобовым стеклом.

Мы верили: духовные кастраты
Ушли в небытие, как Древний Рим.
Мы долго съездом бредили двадцатым.
И восхищались мы двадцать вторым...

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА С ХОРОШИМ ОКОНЧАНИЕМ

У Ивана Ильича — ох дела! —
Теща Марковна вчера померла.
И спешит Иван Ильич на завод,
Заявление начальству несет.
“Так и так, мол, теще нынче — хана.
От завода ваша помощь нужна.
Сорок лет корпела на предприятии.
Вы на гроб ей хоть червонец потратьте.
На заводе есть строительный цех”.
А директор молодой, как на грех.
Ветераны неизвестны ему,
А все с просьбами — к нему, все к нему!
А он работает лишь месяца два.
План летит к чертям! Трещит голова!
Он кричит: “Помочь готов бы я очень,
Но, пойми, свободных нету рабочих”.
Распалился, разъярился Ильич:
“Ветеран я, не какой-нибудь бич!
Сорок лет! — кричит Иван, как в бреду. —
Не дадите — до обкома дойду”!
Хлопнул дверь, закурил и пошел.
Столяров слегка поддатых нашел.
Столковался: “Гробик сделайте, братцы.
Помогу я вам крепче набратся”.
Цель поставлена. Бегут столяра.
Измеряют, пилят. Все — “на ура”.
Гроб — в порядке, красным крепом обшит.
Теща Марковна во гробе лежит.
В это время открывается дверь,
И заносят гроб второй — верь не верь! —
Работяги, плотника заводские.
А глаза у Ильича — вот такие!
Не глаза у Ильича — пятаки.
Но руками развели мужики:
“Нам директором был даден приказ.
Мы при чем? Кончай ругаться на нас”.
Гробо́вая поднялась тишина.
Вся изба гробами завалена.
Расширяется кладбищенский сектор.
Удружил, подлюга, новый директор!

Вдруг Пофирьевна, Ванюшина мать,
Начинает в лишний гроб залезать.
Повертелась взад, вперед, вверх и вбок.
И из гроба подает голосок:
“Не вертай его ты, Ваня, назад!
Правда, гробик мне чуть-чуть маловат.
Но, пожалуй, перед тем, как подохну,
Я, значительно, конечно, усохну”.
...И хранится этот гроб в гараже.
У Порфирьевны легко на душе.
Когда смертный ее час подойдет,
Будет родственникам меньше хлопот.

* * *

Смотрю на фото. Мы с тобой в объятьях.
Восьмой этаж. Какая высота!
Я — в черном весь, ты в белом-белом
платье.

Растерян я, а ты весьма горда.

Нашла ты, наконец, что так искала.
Кольцо на пальце — вот предел мечты!
Ты предложила выбросить бокалы:
“На тот барак как жажнем с высоты!”

Загс позади. Возврата нету. Поздно.
— Зачем бокалы бить? Какая чушь.
Но ты бокал швырнула грациозно.
Твоя подружка напевала туш.

— Барак — он есть барак. Но все ж не
свалка...

Ты хмурилась: “Ведь это к счастью, бей!”
Хотел я счастья, только было жалко
Творения искусного людей.

В том миг я вспомнил детство...
Слезы льются.
Ужасную испытываю злость.
Нечаянно разбил отцово блюдо —
И склеить мне его не удалось.

Звала бабуля: “Киселька попейте!”
И кучу мы устроили малу.
Я расколол стакан за семь копеек
И полчаса потом стоял в углу.

...Перечить не посмел своей богине.
Метнул бокал. Рука не подвела.
Лежат, видать, на крыше и поныне
Осколки драгоценного стекла.

...Разбить бокалы показалось мало.
И жизнь разбили мы. Уменье есть!
А счастья нет, и нет, к тому ж, бокалов,
И тост теперь над ними не прочесть.

Красивый жест! Конечно, я пристрастен.
И все-таки фальшив он, хоть убей, —
Ведь, согласитесь, что со словом “счастье”
Не вяжется нисколько слово “бей!”



ВАНЮШИН КРЕСТ

Рассказ

Доброй памяти Пашки З-на.

В середине семидесятых приехал я учительствовать в один из северных дальневосточных поселков, ведомый не погоней за большим коэффициентом, а чем-то совершенно иным, чему точное определение дать трудно. Многие в ту пору поступали точно так же. Душно было в городах от некоей безысходности, от дикой серости и пустоты душевной — вот и давали деру кто куда. А в основном в тайгу. Те, кто не понимал, что с ними происходит, или же понимал, но не желал сказать правду, преподносили это дело вроде как поездку “за туманом”. Была такая песня про туман и запах тайги, я ее помню, потому как сам певал ее в пропахших водкой и дешевым табаком северных хибарах.

Не сразу появился здесь у меня собственный угол. Поселок вроде и большой, глянуть — километра на два вытянулся вдоль горной гряды, ощетинившейся тайгой, а пройдишь — едва ли что подходящее для жилья найдешь. Все дома какие-то хромые, завалюшные, окопавшиеся в землю до окон. А между тем в них добытки большого золота живут. И драгами его из земли вымывают, и в землю саму до преисподней зарываются. Золотишко-то добывают, а вот благ для себя добыть не могут. Так только, символически подбрасывается здешнему люду тот дефицит, которого в других местах уже не сыщешь, а глянешь попристальнее на человек — та же голь, что и всюду. Разве только лишнюю бутылку водки на свои северные коэффициенты могут взять.

Директорша школы тут была — выдра из выдр. Сразу от ворот

поворот мне показала. “Сам устраивайся, — сказала, да и не сказала даже, а как-то сыто, по-хомячьи прожевала в свои рыхлые напудренные брыли. — Сам, голубчик, сам...”

Я стоял подле ее высокого и крепкого дома — по здешним меркам это были просто хоромы, — а из окна на меня смотрела пара нахальных мальчишечьих глаз, ловивших недобрый пример из жизни, — как пришлого, не знающего куда приткнуться человека оставляют один на один с опускающимися на таежный поселок сумерками.

“И на том спасибо”, — пробормотал я и пошел прочь.

Что касается мальчишечьих глаз, насмешливо взиравших на мое унижение, то вскоре мне пришлось видеть их ежедневно, все такие же нахально-изучающие. Как выяснилось, директорша имела обыкновение поизмываться над всяким, кто ей не пришелся по нутру, а тем более над новичком. Как сегодня мне думается, не случайно она дала мне на попечение класс, где учился ее сын, который был глазами и ушами своей матери. С той самой поры, как я первый раз вошел в свой класс, она знала о каждом моем шаге, о каждом слове — и с наслаждением распекала меня прилюдно в хвост и в гриву на наших ежедневных, мучительных для любой нормальной души педсоветах, не стыдясь при этом выдавать с головой своего сынка-сексота.

Перекоротав ночь в клубе, где тайком остался после вечернего сеанса, я на следующий день не без труда устроился в нечто среднее между гостиницей и рабочим общежитием, где, придет время, меня обворуют до последнего носка и откуда я только по великой, думаю, случайности, вырвусь живым и невредимым, поскольку многие обитатели этого двухэтажного деревянного дома окажутся людьми отчаянными — кто в лагере сидел, кого уже здешняя разгульная жизнь исковеркала...

— Тек бы ты, милый, отсель, пока еще непорченный, — говорила мне общежитская кастелянша тетка Люся. — Знаешь, каки тут бесы живут — жуть.

Я пожимал плечами: куда бежать-то.

— А ты вдовушку найди — вон их у нас сколько, — советовала она. — Мужики-то как мухи мрут — вот и баб-хотелок навалом.

— А от чего мрут-то?

— Пьют много, оттого и мрут. Тут и без того от силикоза мор — под землей люди хворь эту находят, — а еще и водка... Ты, милоч, сходи-ка на наше кладбище и посмотри. Одна ведь молодь там. Вот я и говорю всегда: там одна половинка России лежит, а здесь вторая к той лежке торопится. Беда прямо...

Первые дни я только и делал, что бродил по поселку и его окрест-

ностям, пытаюсь, по своей привычке, всмотреться во все и понять, с чем мне предстояло здесь жить, что полюбить и что возненавидеть.

Золотодобытчики в этих краях появились где-то в начале века, когда Россия стала бурно развиваться на востоке и богатеть за счет недр этих медвежьих далей. Было время, концлагеря тут понастроили и везли в них кучей всех — и у кого кровь на руках, и кого обвинили понапрасну и осудили на каторжную работу лишь потому, что того требовала экономическая и политическая обстановка. Много мне довелось послушать рассказов бывших заключенных, кого судьба так и припекла в здешних местах. Благо перепривыкать им не приходилось — лагерь снесли, а на его месте поселок деревянными крышами вздыбился. До сей поры валяются в перелесках сгнившие лагерные столбы, запутавшиеся в истлевшей колючей проволоке, символ некогда ударных здешних пятилеток.

К тому времени, как я здесь появился, с золотишком перебои пошли. И местный рудник для золотообъединения палочкой-выручалочкой был. Как год к исходу приближается, так гонцы слетаются вороньем: выручайте, мужики, иначе ни премии, ни других льгот не видать объединению. И ныряют мужики в нору свою силикозную, и гремит нутро земли, и трясется от взрывов. И беды бывают. А как им не бывать, если взрывникам по великой спешке приходится подрывать аммоналом породу перед самым носом проходчиков. Те еще не успевают вагонетку загрузить, а тут новый взрыв. Бывало, что с очередной вагонеткой на-гора поднимали и искалеченного человека.

Я знавал одного порядочного директора здешнего прииска по фамилии Блохинцев, который погорел за то, что был категорически против авральных скоростных проходок. “Не дам, — говорил, — моим людям на аммонале стоять, потому как это преступление”, а его, известного на всю область передового руководителя, взяли да и нагнали с прииска, и даже не дали доработать полгода, чтобы заработать подземный пенсионный стаж.

Поселок протянулся кишкой с севера на юг, зажатый с двух сторон сопками, и чтобы добратся с одного конца на другой, требуется немалое время. Идешь, бывало, а за спиной твоей таежная стена остается, и на горизонте тайга маячит, и по обе руки от тебя тайга. И если вспомнить, что тут на сотни верст вокруг сплошное таежное бездорожье, а нелетная погода — явление обычное, то поневоле подумаешь, что лучшего места, чтобы заблудить свою жизнь, не сыщешь.

Комендантша общежития, старящаяся и спивающаяся бабенка Мальвина Еремеевна, сжалившись, выделила мне койку в одной из двухместных комнатх первого этажа. Место считалось сносным для жилья. Здесь еженедельно по субботам менялась постель, от па-

рового отопления было тепло даже в самые лютые морозы, а кроме того, была кухня с непомерно огромной печью, на которой можно было приготовить себе еду.

Вечерами, когда сосед по комнате, молодой мужик, работавший грузчиком в продснабе, удирал на этаж для веселья, я начинал колдовать над своим холостяцким ужином. Денег у меня в ту пору было не густо, и потому основным моим продуктом, пока стояло тепло, были грибы. За ними я ходил в охотку. Заберусь, бывало, на сопку, а там их видимо-невидимо. И маслята, и подосиновики, и лисички. Случалось, что к грибам удавалось раздобыть и пару картох, и тогда я барствовал. Поджарю грибы, добавлю к ним нарезанной на скорую руку картошки — и жду, томлюсь. Сковорода шкворчит, духом своим меня убивает, а я, глотая слюну, терплю и молю Бога, чтобы скорее сесть за стол. Когда блюдо было, наконец, готово, я снимал с плиты тяжелую чугунную сковороду, ставил ее на замызганный кухонный стол. И, уже не сдерживая себя, набрасывался на духовитый харч и проглатывал его в считанные мгновения, всякий раз приправляя финал одной мыслью, что вот, мол, как в жизни долго приходится идти к хорошему и как это хорошее быстро кончается.

А вскоре кончились и мои грибные застолья. Началась серая полоса жизни, когда весь харч приходилось приобретать на невеликие учительские гроши в местном магазине, когда на дворе затрещали страшные северные морозы и в душу вползла беспробудная скучень. Вместе с уличными морозами одурели и обитатели нашего общежития — видно, скучень душила не только меня. День и ночь на обоих этажах хрипели изуродованные по причине пьяной эксплуатации магнитофоны, гремели, словно от топота сатанинских копыт, деревянные полы, было густо от винных паров и матерщины. Редко выдавался день, чтобы кто-то кому-то не набил морду, не выбил зубы, не всадил вилку в задницу. Случалось и того хуже. Помню, как один пьяный вахлак вспорол кухонным ножом своему собутыльнику сонную артерию, и тот живым фонтаном носился по комнате, орошая все вокруг последними красками своей жизни.

Я страдал. И не только из-за того, что боялся за свою жизнь. Хуже было чувство беспомощности в этой жизни, чувство обиды на жизнь, чувство нереализованной мечты. Ведь не таким хотелось видеть все вокруг, не такими хотелось видеть людей...

— Гриш, а Гриш, — говорил я Гришке Седых, своему соседу по комнате, когда, больной и разбитый, матерясь и проклиная белый свет, он после ночного пьяного шабаша собирал себя на работу. — Не надоело тебе вот так каждый день мучиться?

А он посмотрит на меня опухшими глазами и ответит по обыкновению зло:

— Живу как все, а может даже лучше.

— Да разве это жизнь!

— Жизнь, жизнь... — передразнивает он. — А кто ее иную видел? Ты покажи мне того, я тебе за это пузырь поставлю.

Я умолкал, понимая всю нелепость разговора с человеком, у которого башка трещит с похмелья и который нуждается сейчас не в душевительной беседе, а в обыкновенном стакане бормотухи. Он заводил себе чифир в алюминиевой кружке, с всхлипом высасывал густую жижу и, охая и тяжело дыша, уходил.

Сам не знаю, как это получилось, но и я потихоньку стал приобщаться к непотребной жизни общежития. Может, сломала скука и безнадега... Но после очередной серии "товарищеских" попок, проснувшись однажды ночью в холодном похмельном поту и с болью в сердце, я подумал: хватит. Пора выбираться из этого дьявольского круга: работа, общага, пьянка, похмельный утренний подъем...

Я стал подыскивать для себя какое-нибудь сносное жилье. Наконец, удалось найти нечто подходящее: ветхий рубленый домишко с печкой, с сараем и колодцем во дворе. Рядом — подлесок с дикой малиной летом, дальше ключ, что выводит на грибную и ягодную сопку, всю истыканную хвойным редколесьем. В этой хижине жили старик со старухой, старожилы здешних мест, оба запойные. Однажды в запое старик взял ружьишко да и пристрелил свою старуху, а после пошел в сарай и там в петле удавился. В их избу я и въехал.

С Ванюшей Трухиным нас сблизило одиночество.

На прииске он был человеком случайным. Тогда было заведено стены казенных учреждений обвешивать картинками из социалистического бытия, цифирью достижений и лозунгами. Вот и привезли Ванюшу-оформителя из города под обещанные длинные рубли. Партком прииска на такие дела не скупился: приедет высокое начальство из города — будет каким бальзамом на сердце начальственное полить. Ведь банкет, подарочки — это само собой, но преданность идеалам должна быть представлена в обязательном порядке.

Оформителем Ванюша оказался отличным, и потому сам секретарь парткома Валерий Фомич Дягилев ему уважение оказывал, обеды с выпивкой закатывал, а не надо было бы. Дело в том, что у Ванюши своя тайна была: одно время он совсем пропадал от запоя. Завязал, долго не пил, и в тайгу-то сюда удрал, чтобы душу спасти. Ну а здесь вышло не лучше. Понеслось, завертелось. Учув спиртной дух, пьянь местная стала к нему на огонек слетаться. Не раз уж сигнализировала комендантша приискового профилактория Дяги-

леву, что вот, мол, поселили жильца, а в его комнате теперь шалман каждую ночь. Дягилев Трухину за пьянки выговаривал, но так, чтоб сильно не обидеть: работник-то был отменный. И, опять же, какой художник не пьет...

Сломался парень. У него в поселке и кличка уже появилась — Полстакана. В том смысле, что алкаш законченный — полстакана всего и надо, чтоб закосел. Только и слышно было: Ванюша-оформитель на морозе ночевал и ноги обморозил, Ванюше-оформителю в клубе шпана моську начистила, у пьяного Ванюши всю получку свистнули, Ванюша из мотоциклетной люльки вывалился и побился...

Мое знакомство с Ванюшей произошло в доме семьи по фамилии Людвиг. Как ни странно, а для тамошних мест эта немецкая фамилия звучала вполне привычно. Дело в том, что в поселке полно было сосланных в разные годы людей, в основном, как я понял, то были “изменники” да “враги народа”. Среди них было немало этнических немцев (люди, скажу я вам, как на подбор работающие и дети их в школе хорошо учились, и пьянства в их семьях было как-то поменьше).

Так вот, у этих Людвигов в тот день кабана резали. Хозяину, Генриху Карловичу, одному с кабаном было не управиться, а дома, кроме него, одни бабы — жена да двое дочерей-школьниц. Позвал соседей — старого бобыля Мануйленко из продснаба и молодого горняка Шебардина. Каким-то образом прибился к этой артели и Ванюша-оформитель.

Забили кабана и разделали его мужики в одночасье — что там для них один-то кабан. А потом жена Генриха Карловича свежины нажарила и спиртного выставила. Пили, ели, говорили — все как у людей. Один только Ванюша Трухин, дорвавшись до бесплатного, мигом окосел и уткнулся лицом в тарелку. Тронули его — а он как мертвый. Уложили парня в прихожке на подостланный тулуп — пускай проспится, а вечером встанет и домой пойдет. Снова за стол сели.

К вечеру Ванюша и впрямь зашевелился. Мужикам бы взять его под руки и домой отвести, а они спрочазить вздумали. Мол, больно парень до водки падкий, не преподать ли ему урок? Авось проймет...

Взял Мануйленко, дьявол, да и засунул парню под рубашку кабаньи кишки, что оставлены были под домашнюю колбасу. Ванюша только собрался на ноги встать — глядь, а у него из-под рубахи кишки лезут. Кровавые, страшные. Ойкнул с испугу. А мужики с серьезными мордами обступили его, и Мануйленко, старый хрыч, ему:

— Во, брат, как тебя угораздило водки нажраться. Ажно кишки вылезли!

Ванюша тут и завопил. Орет благим матом, душа наизнанку выворачивается. В этот момент я и вошел в дом Людвигов. Дело у меня было к Генриху Карловичу, как к председателю родительского комитета. Крик Ванюшин меня оглушил. Разглядев эти жуткие кровавые внутренности, я оцепенел, а потом заорал:

— Чего стоите? Его в больницу нужно! Немедленно!

А мужики в гогот. Гогочут так, что у них у самих кишки вот-вот полезут. Признаюсь, от этого гогота меня поначалу затрясло от ужаса. Ну, а когда допер, в чем дело, то стоял и не знал — то ли гоготать вместе с ними, то ли плакать от жалости к этому горе-мыке.

В последующие дни я часто думал о Ванюше. Как вспомню его белые от животного ужаса глаза, черную дыру орущего рта и охапку кабаньих кишок в руках — так новая волна жалости во мне поднимется. Как будто самого себя увидел со стороны униженным и беззащитным. И чуял я, чуял, что сам по себе он, бедолага, не так уж плох. Просто это потерявшийся, заблудившийся среди людского равнодушия и безнадёги человек.

И вот подошел я как-то к своей директорше и объявил, что хочу привести в порядок кабинет, в котором занимался с учениками. Неожиданно для меня она это дело одобрила и пообещала выделить на оформление кабинета средства. И даже, к полному моему изумлению, посоветовала обратиться к секретарю парткома прииска Дягилеву, чтобы он, как лицо, шефствующее над школой, помог мне найти художника. Этого-то я и хотел.

Сговорились мы с Ванюшей быстро: он оформляет кабинет, школа платит ему наличными. Правда, он еще заикнулся было насчет спирта, который, по его сведениям, водился в школьном хозяйстве, но тут уж я отрезал:дохлый номер, мол, директорша строгая.

Пришел Ванюша в школу не сразу, а, как водится у российских мастеров, выдержав положенный срок — нужно было раскачаться, настроиться, переболеть похмельем и обнищать до такой степени, чтобы не на что было купить даже буханку хлеба. Да и пришел когда — не сразу к делу приступил. Для солидности, а может из-за лени, еще несколько дней резину протянул, а уж потом взялся за кисти-краски.

Дело пошло. Ванюша оказался мастером талантливым и добросовестным. Но, памятуя о его неустойчивом характере, я вечерами сидел у него над душой. Устроюсь за одним из классных столиков — и наблюдаю, как Ванюша верной своей рукой выводит красивые буквы на ватмане или что-то вырезает из пенопласта. Смотришь-смотришь — и самому вдруг захочется попробовать сделать что-нибудь подобное, аж руки зачешутся, — но в ученики набиваться не-

ловко как-то. Мешать не хочется. Я и разговоры с ним не водил, когда он работал. Так и просидим молча целый вечер.

Работая, он будто расцветал. Крепкий, невысокий, с копной русых волос, часто взлохмаченных, он имел классический вид вдохновенно творящего художника. Порой даже не верилось, что такой человек способен по пьянке смешить своей дурью людей.

Убедившись, что мой Репин прилежен и далек от мысли задурить, я все реже стал заглядывать вечерами в школу. Зайду на минуту, и, убедившись, что Ванюша на месте, уйду по своим делам.

Но однажды сижу вечером дома — вдруг прибегает школьная техничка тетя Маня и с порога: Алексей Алексеич, там ваш художник-сапожник пьяный пришел и шалит. Как, говорю, шалит, а у самого уже нехорошо на сердце. А так, отвечает, дочку мою, Тоньку, знаете ведь, из десятого, тискает и слова всякие ей говорит. Она со мной полы мыть пришла, а он бандюга...

Я помчался в школу. Пролетел длинным коридором — тишина. Заглядываю в наш кабинет — а он там во всей красе. Лежит, забравшись с ногами на стол, и губами во хмельном сне шлепает. А рядом, угорая от него, Тонька сидит, техничкина дочка.

— Вот он, полюбуйтесь! — говорит тетя Маня. Ну, я люблюсь, не зная, что делать. А тут Тонька:

— Да не ругайтесь вы на него! Ну напился, так проспится, завтра и поругаете.

Я посмотрел на Тоньку и понял, что она жалеет Ванюшу. Более того, глаза ее блестят и влюбленностью отдают.

— Гляди-ка, защитница выискалась! — изумленно восклицает мать. — Мало тебе бабки-пьяницы? Не приведи Господи тебе такого мужа!

В общем, пришлось мне взвалить Ванюшу на горб и тащить к себе домой.

На улице было скрипуче от недавно выпавшего снега и морозно, будто в новогоднюю ночь. Небо было все утыкано огромными холодными звездами, которые, казалось, не стояли на месте, а медленно ползли вместе со мной к моему дому. Я шел неуверенно и тяжело, как портовый грузчик по трапу под невероятно тяжелой ношей. А ноша моя таковой и была, потому что была живой и пьяной.

— У-у, чтоб тебя... — то и дело рычал я ничего не соображающему Ванюше, а в ответ слышалось что-то похожее на клокотание заработавшего туалетного толчка. И вдруг этот мерзавец, словно решив до конца испытать мои нервы, взял да и обмочился.

— О-о, Боже мой! — взвыл я. — Да на кой хрен я с тобой, алкашом, связался!..

На улицах было довольно темно и безлюдно, и это меня спасало.

Ну что подумали бы обо мне, к примеру, мой ученик или родительница, попадись они навстречу? Ясно, что: с пьянки возвращаюсь и собутыльника волоку. Но никто нас не видел, и потому я был безмерно счастлив, когда, с трудом дотащив груз до калитки своего дома, сбросил его в сугроб. Я стоял, блаженно разгибая онемевшую спину — и вдруг услышал из сугроба тихое:

— Люди... Мне плохо...

Этот жалкий, беспомощный возглас растопил мне душу, как какой-нибудь сердобольной бабенке, и, выбиваясь из последних сил, я потащил олуха в свой дом.

В доме было холодно и неуютно. Нужно было топить печь и что-то думать насчет опрудившегося гостя — нельзя же было оставлять его в таком виде...

Ночь мне выпала томительной. Я лежал в углу на старом пальто, укрывшись видавшим виды стеганым одеялом, а из темноты, оттуда, где на моей убогой железной кроватенке лежал гость, слышался храп, стоны и всхлипы. Не захлебнулся бы отрыгом, мрачно думал я. Нет уж, хватит с меня, проспится и пускай катится к едрене-фене, обойдусь без этого Рафаэля, соберу ребятешек способных, сами разрисуем свой кабинет, и денег не понадобится... Наконец я провалился в сон.

Утром Ванюша зашевелился. Попытался оторвать свое тело от постели — не смог и застонал.

— Где я? — страдальческим голосом обратился он в пространство комнаты, заполненное неверным светом зимнего утра.

Мне не хотелось с ним разговаривать, я лежал на пригретом месте, собираясь с духом, чтобы встать.

— Эй, кто здесь? — снова надрывно заголосил он. — Ау-у!..

— Хватит! — Я сбросил с себя дырявое одеяло, поднялся. — Собирайся и вали отсюда! — И пошел на кухню растапливать печь.

— А-а, учитель... — сообразив, где находится, уныло протянул Ванюша. — Ты что такой сердитый? Чем я перед тобой провинился? Я перед тобой чист как стеклышко.

— Не можешь ты быть чистым, потому что обоссался! — с издевкой ответил я.

Печь остыла и никак не хотела разгораться. В кухне, как и во всем доме, после ночи было холодно и мерзко.

Послышался скрип хляблых половиц. Ванюша, пристыженный, страдающий с похмелья, крался к выходу.

— Шапку не забудь, она там, на подоконнике, — сказал я. И в ответ вдруг услышал нечто трезвое и самоироничное: мол, зачем пустой голове шапка, если прикрывать нечего. Это меня развеселило, я ответил в том же духе:

— Ума нет, так хоть дурь прикрой.

— А юродивого и под шапкой видать, — невесело усмехнулся Ванюша. — Читал Пушкина, учитель? “Борис, Борис! Николку дети обижают...” Это про меня.

— Ишь, — говорю, — в классику он хочет попасть. Сперва штаны постирай...

И тут в проеме кухонной двери появилось Ванюшино лицо, неожиданно искаженное злобой.

— Ты что издеваешься? — захрипел он сорвавшимся вдруг голосом. — Чистюля нашелся. Я вас, таких, знаю. При народе чистюли, а втихаря — то же самое дерьмо... Ну, что ты смотришь, как ангел на сортир?

Он дышал на меня перегаром, опухший, заросший щетиной. Но ни эта его сиюминутная ярость, ни похмельная помятость не могли скрыть мягких и добрых мальчишеских черт, проступавших на лице тридцатилетнего мытаря. Видно, он орал на меня, чтобы заглушить стыд.

— Ладно, не бесись ты, — сказал я. Но он не унялся:

— А ты не старайся лучше других выглядеть, понятно? А то как бы нам завтра местами не поменяться!

— А-ах ты... — теперь уж я оскорбился, хотел даже в морду дать, но сдержался и только рявкнул: — Убирайся, надоел.

— А вот не уйду! — нагло заявил Ванюша. — Начал со мной возиться, так доводи уж до конца.

— Слушай, ты! — я закипел. — Я тебя припер на горбу, штаны мокрые снял, спать уложил — чего тебе еще...

— Чаю! — как-то вдруг хорошо улыбнувшись, заявил он. — Ну, а потом... потом можешь кричать на меня, как Годунов: “Поди прочь, дурак! Схватить дурака!” — или как там?..

Тут распахнулась дверь за Ванюшиной спиной, и с клубами морозного пара в дом ввалился секретарь парткома Дягилев.

— Вот он! Правильно сказали — у учителя он! — не то радостно, не то негодуяюще сказал Дягилев и уткнул крепкий свой палец в Ванюшину грудь. Я глянул в то место, куда уткнулся палец, и увидел в распахе рубашки довольно крупных размеров самодельный алюминиевый крест, подвешенный на суровой нитке. Надо же, крест носит, Рафаэль юродивый, подумал я. Верит или так, для куража...

А Дягилев, которому было плевать, что там у Ванюши на шее, крест или бельевая веревка, уже завелся:

— Я тебе для того деньги плачу, чтоб ты меня позорил? Ты почему нажрался опять? Почему ты, сукин сын, к несовершеннолетней приставал?

Ванюша метнул на меня испуганно-вопросительный взгляд: неу-

жели было такое? Я не выдержал:

— Кто вам такую чушь сказал? Все не так было!

Я глядел на расхристанного, несчастного, прибитого дягилевским пальцем к стене Ванюшу, и опять меня жалость взяла. “Николку дети обижают...”

— Черт тебя дернул пьяным в школу являться, — убирая палец, уже более примирительно сказал Дягилев. — Вчера звонит, понимаешь, ваша директриса, — он обернулся в мою сторону, — и сообщает: — мол, твой художник устраивает в школе оргии. Теперь год мне будет в морду тыкать. Как говорится, прощай, жизнь...

Это уж точно — прощай, с горькой усмешкой подумал я. Уж меня-то она точно загрызет.

Когда Дягилев ушел, я снова занялся печкой. Ванюша мне подсobil: лучины наколот, бересты с поленьев надрал — так что печь скоро запылала. Потом мы сели пить чай.

— Тебе б, сейчас, наверно, не чаю, а водяры? — сказал я, наблюдая, как мучительно расправляется он со стаканом обжигающего чая: лоб паром исходит, капли пота падают с носа.

— А тебе что, знакомо мое состояние? — страдальчески спросил он.

— Еще бы.

— Хм! А я, было, решил, что ты пуританин... Вот видишь! — он вздохнул. — Все мы одним миром мазаны!

Вечером он пришел в школу как ни в чем не бывало. И хотя был в небольшом подпитии — опохмелился все-таки, паразит, хотя и клялся мне, что в рот не возьмет, — работал со рвением. Я же, схлопотавший днем от директрисы по первое число, опять устроился сопеть у него над душой. Впрочем, Ванюша на меня внимания не обращал, работал зло и сосредоточенно. Устав, лег на пол и принял йоговскую “позу трупа”. Полежал так, о чем-то поразмыслил и вдруг сказал:

— Бери-ка, уважаемый надсмотрщик, плакатное перо — вместе работать будем.

Я, хоть и давно ждал таких слов, растерялся. А он уже совал мне под руки работу.

— Вот, пробуй, пиши. Испортишь — не беда, потом получится.

С того дня я из надсмотрщика стал подмастерьем. Поначалу как-то неловко было: вроде уже взрослый мужик, а на подхвате... Но потихоньку привык к ученической роли, вошел во вкус новой работы.

— Растешь! — подбадривал меня порой Ванюша, и я еще больше старался. Теперь я уже с нетерпением стал ждать вечера, когда школа опустеет, и мы с Ванюхой войдем в этот тихий мир и начнем,

не торопясь, колдовать над бумагой и красками. Это были для меня, одичавшего от скуки, неповторимые минуты душевного подъема, когда понимаешь, что ты живешь, а не просто носишь побитую безнадегой шкуру, что есть в жизни интерес, нужно только найти его, и пусть этот интерес будет маленьким — не в этом дело...

Однажды — наверное, это были минуты вот такого душевного прилива — я сказал Ванюше, чтобы он собирал свои шмотки и перебирался ко мне. Дескать, что клопов-то казенных кормить, своих разводить будем.

Меря жизнь одними и теми же углами, дыша гарью одной плохо сложенной печки, мы быстро попритерлись с Ванюшей. Делили поровну и жратву свою, и радости, и боли, и долгие зимние вечера, в которые постепенно и поведали друг другу о своем прежнем житье-бытье.

Жизнь Ванюши оказалась какой-то скомканной. Родился он на одной из узловых дальневосточных станций, в семье местного начальника милиции. Рано потерял мать, и потому в душе его было пусто то место, где мы держим образ своей родительницы. Когда пришла в дом мачеха, когда появились младшенькие, стал у родителей нелюбимым. Но это он так думал, а в общем-то, видно, просто стал для них никем. Новая привязанность и любовь, как бывает, заслоняют прошлое, и он остался для отца как бы в прошлом. Во всяком случае, жил, не ощущая родительского тепла.

Философия выбора им профессии была довольно необычна. Как он признался мне, еще в школе его мучила загадка смерти, которую он желал во что бы то ни стало разгадать, потому как в этой разгадке видел избавление людей от страха, который они испытывают, сознавая, что в любой момент могут умереть. Страх смерти, по Ванюше, — это рабство, ну а рабство для него было ненавистно, его гены были заряжены в такой же степени свободой, в какой и дурью. Медицина, считал Ванюша, это та кухня, которая ближе всего находится к смерти.

Медицинский институт он закончил с отличием. Станный это человек, говорил про него профессор, пригласивший Ванюшу к себе в аспирантуру, у меня никогда не было студента, у которого в голове было столько же светлого, сколько и темного.

В аспирантуре занялся Ванюша темой, которая входила в интересы космической медицины. Дело, говорит, шло неплохо. Его приглашали на конференции, симпозиумы, ему пророчили будущее. Жилось трудно — на аспирантские гроши не разгонишься. Мечта его была — заработать денег и уехать в Москву. Там умы собрались, там простор для науки. Да и сестра там старшая — единственное живое существо, которое волновалось о нем... О Москве он гре-

зил по ночам, рассказывая мне, как лопнула его мечта стать ученым.

Стал он подрабатывать, чтоб денег скопить, — то квартиры белить, то грузчиком ишачить, в сторожа нанимался, в репетиторы, в экспедиторы. Потом постоянную работу нашел — оформительскую. Здесь деньги неплохие платили. Бросил аспирантуру и с головой ушел в оформительство.

Однажды заработал столько денег, что можно было уже и в Москву двигать. Стал собираться в дорогу — но... надо было попрощаться с друзьями, с подругами... Короче, пропил деньги.

“Ты бы, Вань, возвращался в аспирантуру, — однажды сказал, встретив его, профессор, жалея лучшего своего ученика. — Деньги нужны? Я дам. Отдашь, когда на ноги встанешь. Диссертация-то написана — надо защищаться...”

Ванюшу проняли слова старика, вернулся он в институтскую лабораторию, в которой до того два года крутил крыс на центрифуге. Но не надолго. Денег у профессора из гордости не взял, других не оказалось, и в конце концов ушел он опять в бригаду оформителей. Разрисовывал сельские клубы, снова деньги появлялись, он снова копил их на Москву и снова пропивал с друзьями, начиная все сызнова...

Все равно, накоплю денег и уеду, говорил он мне, ворочаясь на койке в своем углу нашей убогой комнаты, которую сквозь заледенелое окошко зыбко и обманчиво освещала луна. И в науку вернешься? — спрашивал я, наполовину веря еще в его возвращение в люди, и он твердо отвечал, что, мол, обязательно. Так копи деньги и не пей! — советовал я с тем участием и наивностью, которые присущи только молодым душам, и он с той же наивностью уверял, что так оно и будет.

Наконец школьный кабинет был готов, и Ванюша получил свое законное вознаграждение. Хотел часть денег всучить мне, но я категорически отказался. Тогда он заявил:

— Давай пир закатим по случаю окончания трудов.

— Ты бы лучше деньги для Москвы приберег! — насупился я.

— Это разве деньги! — махнул он рукой. — Это слезки, они проблемы не решат.

Не зная, что ответить на это, я лишь пожал плечами.

— Вот и хорошо, — говорит Ванюша. — Значит, вечером гудим. Только знаешь... — он замялся. — Бабенка есть одна, сучка-одиночка, как здесь говорят. Ты не против, если я ее приведу? Ну, дамское общество, то-се, понимаешь? Обрыдло без баб-то.

Женщин, как он сам мне признавался, Ванюша очень любил. И,

видимо, помимо прочего, за то еще, что получал от них многое такое, чем был обделен с детства: тепло, участие, ласку.

— Дамское общество — это неплохо, — сказал я. — Веди, коли есть кого.

Днем Ванюша смотался в магазин, набрал продуктов, выпивки. Я вернулся с работы, и мы сочинили неплохой ужин, а потом он отправился за зазнобой. А когда вернулся — я так рот и раскрыл: вместе с молодой стыдливой бабенкой он привел каких-то двух помятых хмырей.

— Какого лешего ты их привел, — зашипел я ему на ухо. — “Телевизор” забыл?

— Да они хорошие мужики, — забормотал он. — Гляжу, мыкаются по поселку, как неприкаянные. Дай, думаю, приглашу...

В этом был весь Ванюша: лишний рубль появился — надо его между всеми страждущими разделить. А “телевизором”, о котором я ему помянул, называлось в поселке кафе: оно было стеклянное, просматривалось насквозь, и любая баба, проходя мимо, могла углядеть в нем своего подгулявшего супруга. Уже будучи моим приятелем, привел Ванюша в “телевизор” таких же вот хмырей, а они, вместо благодарности за выпивку, морду ему начистили. Впрочем, так у нас исстари ведется — обязательно своему благодетелю морду бить.

На сей раз обошлось. Видно, виной тому явилась Катюша. Была она вдовухой — муж года два как погиб на охоте от дурной пули, — не красавица, но и не страхолюдина. Так, неприметная, тихая. И лишь улыбка ее светлая выдавала в ней славную бабу. Такие крепки в любви и надежны, хотя счастье и обходит их зачастую стороной.

А вечеринка прошла путем. Мы-то с Ванюхой отвыкли для дамского общества балы закатывать, боялись не угодить Катерине. С мужиками оно проще: поставил на стол бутылку, напил сала, вывалил картохи в мундире — и радуйся, братва. А с дамами вопрос серьезный, они, чертовки, все видят: и как ты хлеб порезал, и как ты горячее подал. Но Катерина отнеслась к нам снисходительно.

— Какие вы молодцы, — говорит. — И кто вас так хозяйствовать учил? И сало у вас вкусное, и картошка, и вообще у вас все хорошо.

После вечеринки Ванюша пошел провожать Катерину — она жила на другом конце поселка, там и работала в “Хозмаге” — и не вернулся. Я, конечно, волновался за него: мало ли чего могло ночью приключиться, но разумом-то сознавал, что не подобает мужику в таких случаях домой возвращаться.

Что же касается тех парней, что с нами вечер коротали, то они оказались людьми тихими, несмотря на свой неприглядный вид. Работали, говорят, в старательской артели, да дела у них не пошли.

Заработали хрен да маленько. А как ехать домой нищими? Соседи засмеют: дескать, вернулись с золота в рваных пиджаках... Сейчас они работу искали, чтобы перемочь зиму, а весной собирались поновой в старатели. Погостевали они и ушли. Обещали, как разбогатеют, навестить нас с Ванюшкой.

А Ванюша на этой же неделе собрал свое небогатое шмотье и съехал от меня. Потом они с Катериной раза два заходили ко мне в гости. И, как мне показалось, у обоих на лицах счастье светилось. Ну, думаю, дай-то вам Бог... Хватит, помытарились, нужно жизнь жить. Катерина ему, естественно, парой в спорах о высокой материи не будет, но уж тыл в жизни обеспечит. Только его ли это жизнь? Ванюхина романтическая душа бредила далеким и неисполнимым, а здесь все просто, как в выпитой бутылке, — никаких горизонтов, а только тихий понимающий голос Катюши и свежий борщ на столе. А все-таки хотелось мне верить, что в самом деле решил он прибиться к тихому берегу.

Встретил я их вместе еще разок — незадолго до Нового года. В кино шли, покрасневшие такие от мороза. Ванюша сказал, что хотят они на праздник меня к себе пригласить. Я обрадовался: слава Богу, не придется в одиночестве мерить углы своей вечно стылой хаты.

Но за день до Нового года Ванюша пропал.

— Шлея, что ли, под хвост попала? — жаловалась мне, вся в слезах, Катерина. — Деньги за калым получил — и повело его. Сперва где-то сильно поднабрался — но домой пришел. Маялся, маялся, а потом — в дверь... А перед этим зачем-то крест свой — помнишь, наверно, он у него большущий такой на груди висел — так вот, снял он его и мне отдал. На, говорит, храни, а мне он шею стал давить, воздуха, говорит, не хватает. И ушел...

Мы с Катериной пробовали отыскать Ванюшу. Словно сыщики какие, шли по следу. Выяснилось, что видели его с какими-то парнями в магазине — водку покупал. Потом, сказали нам, сел он с ними в рейсовый автобус, что шел в районный центр. Отыскали мы тот автобус, в котором Ванюха ехал с собутыльниками. Шофер эту компанию припомнил. Веселые, говорит, ехали, на взводе, песни пели. Но почти сразу же попросили остановить автобус и сошли. Трех километров от поселка не отъехали...

Мы с Катериной не знали, что делать. В милицию заявлять? Да стоит ли сразу шум подымать, людей государственных дергать? Ведь, скорее всего, загулял где-то, пускай выгуляется. Но прошел праздник, покатил новорожденный год, а Ванюша не возвращался.

— Сбег, паразит! — безнадежно сказала Катерина. — Деньги-то были — вот и укатил куда... Может, в ту же Москву. Он ведь ею мне

все уши прожужжал. Вот, говорит, денег накопим — и покатым с тобой в столицу. Покатили...

Но я не верил, что он уехал в Москву. Слишком я хорошо его знал. Москва для него была просто идея, без которой он не мог существовать.

Но время шло, а Ванюши все не было. На душе стало тревожно и пусто от чувства утраты. Катерина обратилась-таки в милицию. Решила баба, что не чужой он ей, найдет она его живым или мертвым. Помню, опросы по поселку пошли, спрашивали, кто встречался с Ванюшей, кто видел его в последний день. Прибежал ко мне Дягилев, — паниковастый оказался мужик, — мол, ты уж молчи, что я сквозь пальцы на его куражи смотрел, сам понимаешь, каково идеологическому работнику в таких ситуациях... В районной газетке появилось милицейское обращение к гражданам: просили откликнуться всех, кто мог что-то про него сообщить. Тщетно.

Вот и зима пошла на убыль, завеснело на дворе. Признаюсь, о Ванюше стало мало-помалу забываться. Жизнь продолжалась, и новые заботы одна на другую нанизывались.

И вот известие по поселку полетело: труп нашли. Мальчишки резвились за поселком — и наткнулись на мертвеца. Конец марта был, снег сходить начал и обнажил тело.

Приехала милиция, пригласили граждан — опознали беднягу. Двенадцать ножевых ран насчитали на теле Ванюши. Нашли и убийц — двух зеленых хмырей, приехавших в поселок на заработки. Они рассказали, как дело было. Ванюша, с которым они только что познакомились, поначалу тащил их в райцентр — зазноба у него там была, завклубом. Но они по пути отговорили его: зачем ехать, когда баб и тут хватает — были бы деньги. Вернулись в поселок. Был у них домишко-завалюха на краю поселка, аккурат у самой тайги. Ну, подпили крепко, повздорили — сценарий обычный. Когда Ванюша, залитый кровью, испустил дух, упрятали его в холодном чулане. Там он, бездыханный, и провел новогоднюю ночь. А вечером следующего дня погрузили окоченевшее тело на санки и отвезли в тайгу.

Был суд. Убийц к невеликим срокам приговорили. Ну, да крови новой никто не требовал — что она изменит в этой жизни? И вот лежит теперь Ванюша, замурованный в вечную мерзлоту приискового кладбища, и все ему уже до фени. Даже Москва, о которой он столько грезил и которая так никогда ему и не улыбнулась.

Иногда я вспоминаю тот приисковый поселок, где остался кусочек моей молодости. И назад тянет — и больно бывает вспомнить. И светят мне огоньки из прошлого. Порой свет этот теплым кажется, порой холодным, как холодна бывает земля на северных кладбищах.



НОВЫЕ СТИХИ

Войду в пустое, голое,
Где вербы без стволов,
Где ветрам чешет головы
Букварик-пучеслов.
И вдруг душой ненужною
Услышу в тишине
Тот хлад, ту волю вьюжную,
Что навсегда во мне, —
Унылых музык осени,
Тоскливых строк полет
И голос,
Голос родины,
Как свет воды сквозь лед.

Родина живет в моем “люблю”.
Поклоняюсь облаку, и саду,
Тихому задумчивому взгляду,
Пасынку пространства — журавлю.
Роды света — утренняя рань.
В гробе мрака — корчи воскресенья.
Родина, отчизна, отчий край!..
Тишина полей — как потрясенье.
Ради бога, кто-нибудь живой,
Подойди и стань, воздевши руки
Выше воли, смерти и разлуки,
Выше этих дыр над головой!
Старые... Мы старые с тобой,
Родина, отчизна — вечный постриг.
Мертвые. Мы — прах.
А жизнь начнется после:
За корой, за краем, за судьбой.

Перезимуем, брат. И это все осилим.
Отыщем искру в каменной золе.
Все в мире есть, но нет другой России,
А без России пусто на земле.
Пророка жду... Бог в помощь, говори!
Пророка жду... Он легких слов не скажет.
Он мертвых всех простит,
А всех живых отвяжет
Равно от мрака вечного и от пустой зари.
И понесутся люди кто куда, —
Одни побежкой волчьей, другие конским скоком.
— Живите, — скажет, — врозь.
Не лезьте в небо скопом.
И даже по двое не лезьте вы туда.
При том, что бог один, у каждого свой бог.
А там, где жизнь проста и беспредельна,
Любящие живут отнюдь не параллельно,
Поскольку близость есть скрещение дорог.
Вот в чем печаль любви, великая печаль.
Стремясь унять ее, вы даль свою растлили.
Любящий, скажем, Русь
Живет не вдоль, а поперек России,
Он, только он несет ее надежды на плечах.
Пророка жду... Гадаю в ожиданье,
Что скажет он, как скажет он и где:
В кровящей родине моей, в земле ли чужедальной,
В роскошной пустоши туманности астральной
Иль на суровой крохотной звезде,
Что снится мне ночами иногда.
— Ты кто? Ты — смерть?..
— Нет, я — твоя звезда.

Не вызреет поле. На силос!
Все сумрачней свет естества.
Большая судьба износилась,
А малая с детства мертва.
И, снам доживанья мешая,
Последнюю нитку сучит.
— Большая, большая, большая! —

Уставшее сердце стучит.
И горько смежаются вежды,
И, господи, липнет к уму:
— В величии нету надежды,
А малостью жить ни к чему.
А малостью жить бесполезно.
И голосом мертвых обид
По небу, по полю, по лесу:
— Большая, большая! — гудит.
Большая! — и все виноваты.
Большая! — и дни, как гробы.
И брат замахнулся на брата
Обломком разбитой судьбы.

Разбрелись приятели кто куда.
Кто припрятал дерево, кто закон.
Печь моя не топится. Холода.
Это кто в судилище? Не знаком.
Разберись, душа моя, что к чему, —
Все тебя покинули или ты
Изжила минувшее, как чуму,
Извела все улицы, все мосты?
Разберись, душа моя, — я ли сам один
Или все одни в этой тьме земной?
Разберись, душа моя, — ты ль в моей груди
Или в каждом ты, кто отринут мной?..

Бедное, богатое, больное,
Бездну под покатою луною,
Берег, оползающий к воде,
Крик ночного мальчика-провидца,
Морды ветров и лошажьи лица,
Где бы ни скитался, я найду везде.
Бедное, богатое, больное!..
В беглой тундре,
В африканском зное,
В диких мегаполисных морях

Я всегда найду, пока с судьбы не сбился,
Тот единственный пейзаж, с которым я родился
И который — крест,
И жизнь,
И родина моя.

Когда я говорю с душою
Словами неба, как во сне,
И одиночество большое
Сжимает сладко сердце мне, —
Случайный пес иль друг мой давний
Так льнут к судьбе моей больной,
Как будто есть в ней оправданье
Всех одиночеств под луной.
Деревья, синь, закат плывет...
Вот-вот в ту бездну буду кинут,
Где вспыхнут вечности и минут,
Где все минует и живет.

В просторной яме отсижусь.
Над стылým полем ветер свищет.
Тепла земля. Я к ней прижмусь.
Никто не ждет, никто не ищет.
Есть в одиночестве полет,
Неизъяснимая отрада.
Никто не ищет — и не надо!
Но бог не ищет и не ждет.
В себе, как в яме, отсижусь,
Как недозрелый плод в утробе,
И вскрикну вдруг, как мертвый в гробе,
И выйду в свет, где я не нужен,
Никем не ждан, ни с кем не дружен,
И молвлю: — Вот я! —
И рожусь.

Уткой крякнет тишина,
Брякнет лунная железка...

От реки до перелеска
Сто калиток — и одна.
Кто бы что ни говорил, —
Я к тебе свой путь торил.
Где со стоном, где со взломом
Сто калиток отворил.
Сто калиток — сто обид,
Сто запретов, сто раздоров.
И осталась одна, — за которой ты стоишь,
За которой все — добро,
Все — светло и все — безгрешно.
И осталась одна...
Помоги, любовь-надежда.
Всем сиротством, всею кровью
Буду биться — не открою.
И осталась одна...
Ночью стылой, в полдень летний
Помоги хоть у последней:
Не по рангу мне она.

Опять, презрев число,
Весна сквозь зиму бьется.
И так душе светло,
И так легко поется.
А и всего-то — свет
Забрезжил ниоткуда.
И сводятся на нет
Все отрицанья чуда.
И сводятся на нет
Все плотские законы
Движенья снов и лет
В кругу земли и зоны.
И в небе нету дна,
Как нет границ у боли.
И всходят семена
На омертвелом поле,
Где, словно перегной,
Вся мудрость безнадеги.
И крепок путь земной,
И нет конца дороге.

МОЛЬБА О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ

Обветшала книга бытия.
Притупилось жало высоты.
Боль Христа пуста, как поговорка, —
Слишком его помыслы чисты.
Разум грязен, оттого что сух.
А без разума не выжить — мал кредит.
Бродит в поле электрический пастух.
Все он знает, но звезду не разглядит.
Все он знает, он умнее нас.
Мы порой кричим ему:
— Спаси!
Но кого он пас, того и спас.
Мрут надежды на святой Руси.
Мрут надежды...
О цепляние за жизнь,
Где ты? Нету. Нету и того,
Чтобы кто-то крикнул ближнему:
— Держись,
Ты залог спасенья моего!
Мрут надежды. Леню идти туда,
Где восход колени преклонил,
Где гудят под ветром провода
И чернеют тучи от чернил.
Вот оно — начало новых лет.
Вот надежда, музыка твоя,
Мужество твое и жизни черствый хлеб
В новой, черной книге бытия.
В черной, черной! —
Нет по белому писаний дальше тех,
Что уходят, головы склоня,
В край не утешений, а пустых утех.
И смешно от них, и горько.
Черный, мертвый смех.
Боже правый, пощади меня,
Пощади и не оставь. Казни
Лютой казнью каторги любой.
Только дай нам знать, что мы на свете не одни,
Даже если примелькались нам твои далекие огни,
Даже если мы и не с тобой!

За башенными кранами,
За нашими, за вашими,
За пешими, за конными,
За коконом зари,
За долгими сраженьями,
За ложными сближеньями
С тебя пароль потребуют.
А ты не говори!
А ты храни молчание.
Ты вышел из отчаянья,
Не в стаде и не в партии,
А в жажде быть собой.
Свобода — дело клевое
И в то же время — плевое.
С тебя пароль потребуют,
А ты скажи: — Любовь!
Любовь!.. Но если знаешь ты
Слова непреходящие.
Любовь!.. Но если видишь ты
Безмерность бытия.
Смирись, скажи, что все твердят:
— Свобода, демократия...
Скажи, — не то задержится,
На много лет задержится
Пророческая миссия —
Любовь и боль твоя.

Я в детство не вернусь. И в старость не войду.
Я, как родился, так и буду престарелым.
Нас множество таких на свете этом белом.
Эй, позовите кто-нибудь, я в гости к вам приду.
Бывает — встретишь... Так, мальчонка...
А в очах
Настолько мне знакомое горенье,
Что я скажу, он скажет — и пустейшее мгновенье, —
Как дни, как годы гостеванья при свечах.
Вот этим и живу. Все остальное — блажь.
Куплю-продам, автомобиль, свобода...

С какого года я?
Я ни с какого года.
Родился вместе с вами. Жил. Умру.
Все с вами. Но не ваш.

Никто не знает, как уходит боль,
Но каждый знает, что она уходит.
Душа моя, отчизна, что с тобой?
Надежда в рабстве,
Безнадега верховодит...
Что б ни вершили мы,
Все ей и только ей в угоду.
Душа моя, отчизна, горний свет,
Надежда в рабстве у тоски.
Кто ей вернет свободу?
— Ты.
— Я?..
— Да, ты. Или другой поэт.



ЧАРОИТ С ПИКА БАМ

Очерк

Кто из нас не болел какой-либо мечтой? В юности автор этих строк, например, помешался на покорении вершин, восхождения на которые совершал тогда, правда, только по картам. Помню 1957 год, выпускной вечер и собственную пылкую готовность идти сразу на все четыре стороны. Но мой взгляд почему-то задержался на Северном Забайкалье, где располагалась вершина с отметкой 2999 метров, самая высокая на хребте Кодар. И я дал себе слово взойти на нее.

Но отправиться на покорение помешала сначала учеба в вузе, потом женитьба, дети, работа... Планы отодвигались на неопределенный срок.

Так бы, пожалуй, и остались они не реализованными, если бы не строительство Байкало-Амурской магистрали, которая прошла в полусотне километров от пика. Я посчитал это счастливым предзнаменованием, переехал в село Чара и устроился на работу в редакцию газеты "Северная правда" — чтобы быть к мечте поближе. Вместе с заядлым туристом, председателем комитета по экологии и природопользованию, ленинградцем Сергеем Затуряевым мы дважды делали попытки восхождения на пик БАМ.

Но безрезультатно. В первый раз Сергей умудрился отморозить мизинец на ноге, во второй нас едва не накрыло лавиной: для восхождения выбрали неудачное время, первомайские праздники — как раз лавиноопасный период. И до вершины тогда не дошли всего полкилометра.

Через год сделали третью попытку. Прошли пять или шесть веревок — это метров 250 — и вышли к стене, которую разрезала вертикальная трещина. Сергей справедливо рассудил, что грех ею не воспользоваться, и через десять минут прокричал мне, чтобы я поднимался следом. Я сунулся было, но куда там! Трещина для меня

была слишком узкой. Решил сложное место обойти. Склон был опоясан карнизом — тоже очень узким, но если при движении прижиматься к скале, то попытаться можно. А там, похоже, подъем будет более пологим.

Я сообщил все это своему напарнику и двинулся в обход. И вот, на самом сложном участке, глянул вниз — и глазам не поверил. У левой ноги блеснул обломок камня голубоватого цвета. Спешно перебрал в уме свои университетские, довольно жиденькие знания по геологии. Азурит? Лазурит? Малахит? Флюорит? Или... чароит, полудрагоценный поделочный камень, который свое название получил именно из-за здешних мест. Но сюда-то он как попал? Ведь единственное известное месторождение этого минерала находится севернее пика километров этак на двести?

На дальнейшие размышления времени не оставалось, и я сунул находку в карман. В Чаре разберемся, тем более, что минералоги в Удоканской геолого-разведочной экспедиции есть неплохие. А карниз неожиданно выклинился, и я напрочь забыл о находке и вместо предполагаемых десяти минут на преодоление стенки затратил час.

А к обеду новая неожиданность: мы попали в обледенелый кулуар, или, иначе, коридор, одолеть который можно было лишь в триконях — горных ботинках с металлическими шипами — или с помощью “кошек”. Ни того ни другого у нас не было. А тут еще пошел дождь, мелкий, нудный, не обещающий в ближайшие часы даже кусочка синего неба.

Через три дня Сергею предстояло лететь в Ленинград, билет на самолет был куплен, и время поджимало. Пришлось возвращаться не солоно хлебавши. Отводя взгляды, мы клятвенно заверили друг друга, что уж в следующий раз... Хотя отлично понимали, что этого раза, скорее всего, не будет. Мне уже стукнуло сорок три, а у Сергея без меня инициативы не хватит.

Было это в 1983 году. Расстались мы с Сергеем, действительно, навсегда. Он вернулся в свой родной Ленинград, я — в Амурскую область. “Суум куикве”, как говорили древние. Каждому свое. Письмами друг другу не надоедали, — да и что вспоминать-то?..

Но мечта о непокоренном пике сидела занозой, и где-то в глубине души я надеялся, что будет еще одно восхождение. И вот однажды, во время командировки в Тынду, купил в киоске газету “БАМ” и залпом прочитал корреспонденцию Владимира Гузия “Лучше гор могут быть...”, в которой говорилось, что руководитель Куандинского туристического центра Виктор Рыжий сводил на пик БАМ группу читинских альпинистов. В заметке назывался адрес и данные восходителя: Куанда, школа, учитель физики... Я понял, что этот самый Рыжий — мой единственный шанс, что только с его по-

мощью смогу попытаться последний раз покорить злополучный пик.

Я сел за телефон, отыскал старых друзей, которые знали этого парня, написал ему. Уговаривал, умолял включить меня в состав группы, которую он в очередной раз поведет на пик. В свою пользу приводил действительные и мнимые аргументы, в которые впоследствии уверовал и сам. Обещал, например, даже дневалить на стоянках группы и мыть посуду: чего в горячке не наговоришь!

Положение усложнялось тем, что я был не один. На хребет Кодар собирался и десятилетний сынишка Артемка, которому я неосторожно пообещал, что возьму в горы, если он закончит третий класс без троек. Мальчишка свое слово сдержал, наступала моя очередь.

Ответ из Куанды мы с Артемкой ожидали с огромным нетерпением. И когда наши ожидания свелись было к нулю, в почтовом ящике мы обнаружили долгожданное письмо. На месте обратного адреса стояла внушительная аббревиатура — РВС. Поднаторевший в чтении Гайдара (старшего), Артемка восхищенно поинтересовался:

— Неужто Революционный Военный Совет?

— Рыжий Виктор Степанович, — расшифровал я, оттягивая момент вскрытия приговора.

Но когда конверт был распечатан, по квартире разнеслось искреннее “ура!” Рыжий брал нас в маршрут: меня — на вершину, Артемку — до базового лагеря. Такая раскладка устраивала обоих. И через несколько дней мы уже вслушивались в перестук колес нюрнгринского поезда, выговаривающих незатейливо: “На Куанду! На Куанду! На Куанду!”

Встретивший нас в Тынде старый товарищ Илья Тищенко выразительно покрутил пальцем у виска. И задумчиво произнес:

— Старый дурак! Захотел на финише жизни приключений?

— Почему старый? — заволновался я. — Всего 53 лета...

— Погулял ты свое, Виктор Егорович... А Артемку с собой зачем берешь, в такой рискованый маршрут?

Сынишка кинулся на выручку.

— Проспорил он, дядя Илья. Сказал, что если я буду “хорошистом”, возьмет в горы. А первое слово дороже второго!

Посмотрев на радостного Артемку, Илья Андреевич только рукой махнул.

В куандинском поезде, на который пересели в Тынде, мы увидели целую группу альпинистов с огромными рюкзаками, ледорубами и забеспокоились: неужели все они — к Рыжему?

От Тынды до Куанды около тысячи километров — полсуток для

приличного поезда, но наш, как говорится, кланялся каждому столбу, и поездка заняла почти сутки. Однако вот и Куанда. Мы с Артемкой тут же взобрались на просторное крыльцо вокзала — чтобы нас не пропустили. Признаемся, чувствовали себя не очень, всерьез опасались, что не встретят, уж слишком нереальной выглядела ситуация. Но вот из толпы встречающих выбрался парень в штормовке, в шортах, с ниспадающими на плечи черными волосами. Куандинский Иисус Христос! Неужто Рыжий?

— Волчковы? — в свою очередь спросил он. — Пойдите здесь, вот только остальных встречу.

Как мы и предполагали, те, с рюкзаками приехали тоже к Рыжему.

Тут, пожалуй, несколько слов стоит сказать о Куанде, крохотной железнодорожной станции на северо-восточном участке БАМа. “В люди” она выбилась лишь потому, что в свое время неподалеку от этих мест произошла “золотая” стыковка западного и восточного направлений трассы века. Именно здесь один из “бугров” путеукладчиков, Саша Бондарь, пустил слезу по поводу столь примечательного события; растиражированный в тысячах копий снимок обошел многие газеты и журналы.

Выглядит Куанда вполне по-городскому, хотя жителей здесь около тысячи. Добротный каменный вокзал, пятиэтажные дома, трехэтажная школа — гордость поселка.

Все это радует глаз. И со всех сторон станцию окружают синие горы. А вы когда-нибудь видели поселок в обрамлении синих гор?

Как вскоре выяснилось, вчера Виктору Рыжему исполнилось 33 года (ну чем не Иисус Христос?). Он пригласил всех нас к себе, в трехкомнатную квартиру. Жена Виктора Наташа накрыла стол, на котором с прошлого вечера оставалась бутылка вина. Ее предстояло распить за знакомство.

После ужина шел долгий разговор, были пластинки с записями песен Визбора, Ады Якушевой, Юрия Кукина, Евгения Клячкина, был просмотр цветных диапозитивов о многолетних путешествиях по Кодару и Удокану известного в Северном Забайкалье восходителя — хозяина квартиры...

Следующий день ушел на окончание сборов. В рюкзаки укладывались спальные мешки, палатки, запасная одежда, рукавицы, носки, крючья, веревки, ледорубы, продукты... В общем, по пуду веса на каждого! И это без сухарей, сахара, разных там конфет, отнесенных к продуктам индивидуального пользования. А еще каждый мог взять некоторые личные вещи. Скажем, любимую книгу, шоколад или даже губную помаду. А сам Виктор Степанович прихватил подозорную трубу и определитель растений.

С последним связана целая история. Как-то однажды восходители разбили стоянку на плантации занесенного в Красную книгу рододендрона Редовского. И как группа ни аккуратничала, а площадка, где устанавливалась палатка, оказалась вытоптанной. После этого Виктор Степанович и пришел к мысли, что биологию должен знать каждый. Приходилось доучиваться на ходу.

В группе нас одиннадцать. Три инструктора-методиста по туризму: Виктор Соловьев и Галина Куракина из Куанды, Светлана Сологубова из Благовещенска; две куандинские старшеклассницы Надя Науменкова и Анжела Кустова; из Тынды — поэт Владимир Гузий, специалист “Бамстройпути” Галина Надышева и инженер лечебно-санитарной службы Нина Полетаева. Замыкали группу мы с Артемкой. Собрались люди разных профессий, пяти национальностей и, честное слово, нашей дружбе и единению позавидовал бы каждый.

Из Куанды уезжали на местном поезде. Он шел еще медленнее забайкальского, но часа через четыре приковылял-таки к разъезду Сакукан, на котором не было даже дежурного. Крохотное зданье у подножия гор. На разъезде, кроме нас, никто не вышел. Отсюда путь — только в горы, и других охотников путешествовать по Кодару не нашлось. Видно, и цены на железнодорожный транспорт многим уже стали не по карману.

Мы вышли на старую заросшую дорогу, разрезавшую марь надвое, и началась проза жизни. Под ногами кочки, вода, в воздухе обилие комаров. Минут через пятнадцать шедший впереди Виктор Степанович объявил остановку.

— Мальчики налево, девочки направо, — скомандовал он. — Да подгоните ремни на рюкзаках, путь долгий.

Горы слева. Строгие, величественные. Дня через два познакомимся с ними вплотную... Впереди по маршруту лента зеленых зарослей указывает на близость Верхнего Сакукана. Не доходим до реки несколько сот метров и сворачиваем на морену. Встречающиеся валуны — гладкие, отполированные некогда спускавшимся сюда ледником. Идем “лежневкой”, сохранившейся с конца сороковых годов, когда в этих краях добывали уран. В Чаре, да и в других населенных пунктах района еще живут немногие, уцелевшие после тех сталинских лагерей, люди. Встречающиеся на пути бараки, конечно, полуразвалились, а вот “колючке” ничего не сделалось: разве что поржавела. Виктор Степанович прихватил с собой радиометр, на каждой стоянке снимает показания. Почти везде фон завышен в несколько раз. Местные жители к беспокойству туристов относятся снисходительно: век живут в этих краях и ничего. Дай-то Бог, чтобы это было действительно так!

— А вот и Марианна начинается, — смеется Виктор Соловьев, весельчак и балагур, душа группы. Несмотря на русскую фамилию, он татарин, телом сух и поджар, стремителен в движениях и ловок. Веса в нем не наберется, пожалуй, и шестидесяти килограммов, а рюкзак несет не меньше двадцати.

Я недоуменно спрашиваю:

— Какая Марианна?

— Ну, марь, — объясняет он. — С кочками, омутами, добавочными комарами...

Артемка строя не придерживается, идет то следом за Виктором Степановичем, то в середину группы затешется, то примкнет ко мне, замыкающему. Рыжий на него не в претензии, Артемка ведь самый молодой из нас.

Приподнятое настроение участников маршрута невольно передается и ему. Путешествует сынишка со мной третий год, кое-что повидал, держится на равных.

— Разве это комары? — цедит он на очередной остановке, куда слетелся гнус, кажется, со всего Забайкалья. — Вот у нас, в Зее, комары так комары! Напьется крови, летит, а крылья, как у орла, гнутся...

— Отец научил? — изумляется такому вранью Владимир Гузий.

— Сам придумал, — подмигивает Артемка.

Обычный ритм движения — 45 минут идем, 15 отдыхаем. Но на этот раз переход явно затянулся: уже перевалили на второй час, а о привале Рыжий, похоже, не думает.

— У него места остановок крапленые, — поясняет Виктор Соловьев. — Тянет до брода через Верхний Сакукан.

Речки в горах дикие, необузданные, падение уровня воды на километр пути — десятки метров. Одному через такую водную преграду не перебраться: собьет! Но Рыжий один и не думает переходить. Совещается с Соловьевым, оба сбрасывают рюкзаки, вырубают внушительную слегу, вступают в бушующий поток. Комель тяжелой лиственницы закинут метра на два выше по течению, руки — на плечах друг друга. Сейчас они представляют единое целое. Соловьев подпирает Рыжего, когда тот перекидывает слегу на метр-полтора поперек русла реки.

За переправой наблюдаем со стороны. Ребята разведывают путь и вернутся за нами. Преодолевать препятствие взрослые, конечно, будут сами, сгруппировавшись по трое, а вот Артемке, Наде и Анжелке потребуется помощь.

У Рыжего и градусник с собой — температура воды 12 градусов. За второй заход с Соловьевым они переносят на противоположный берег рюкзаки, за третий и четвертый — переправляют девочек.

Чувствуется, что оба, как говорят японцы, изрядно зазябли. Мы с Гузием решаем взять Артемку на себя. Он у нас посередине, во всем повторяет наши движения. В самом глубоком месте парнишку отрывает от дна, и, стараясь сохранить равновесие, он инстинктивно хватается за Володин рюкзак. Лямка не выдерживает, и рюкзак подхватывает потоком.

Подстраховывающие переправу, Рыжий и Соловьев выхватывают его из воды. Интересуются, не пострадали ли продукты, одежда? Гузий распаковывает рюкзак:

— Только брюки запасные подмокли.

— Ну и хрен с ними, — смеется Соловьев.

Правда, позже выяснилось, что пострадал еще и фотоаппарат, что донельзя огорчило Владимира Гузю.

На левом берегу речки и заночевали, палатку разбили у самого уреза воды. Долина уже сжата отрогами хребта, тропа единственная, по ней ходят и звери, и люди. Из людей — это туристы, а звери — преимущественно медведи. На их следы мы натыкались постоянно: то остатки помета встретятся, то развороченный муравейник попадется. Ну как тут не вспомнить недавнюю корреспонденцию собкора “Забайкальского рабочего” Анатолия Снегура под страшноватым заголовком “Медведь-людоед”? Анатолий Емельянович описал, как зверь расправился с двумя подростками. Кто знает, какими принципами руководствуются “хозяева тайги”, когда люди бесцеремонно вторгаются в их владения? Поэтому и разговоры невольно скатывались к медвежьей теме.

— На узкой тропе — совсем как наша, — вкрадчиво начинает Виктор Соловьев, — встречаются медведь с туристом. — “Ты кто?” — спрашивает мишка. — “Турист”. — “Нет, — поправляет медведь. — Это я турист, а ты — завтрак туриста...”

Не доходя метров десяти до вершины бюроканского ригеля, падает Анжела Кустова. Обморок. Нина Павловна Полетаева выхватывает из своего рюкзака какую-то таблетку. Кажется, валидол. Девчонка приходит в себя, но встать не может. Лежит на мху, в глазах слезы — подвела группу. К месту происшествия спускается Виктор Степанович.

— Ничего, Анжелка, — говорит он будничным голосом. — Со всяким случается. Просто рюкзак для тебя тяжеловат. Сейчас разгрузим.

И снова “пыль, пыль, пыль из-под шагающих сапог”. Окуджава или Киплинг? Кажется, второй. Каждый шаг отмечен капелькой пота. Вспомнилось чье-то утверждение, что даже в самом хорошем человеке 90 процентов воды. Во мне, похоже, больше. А тропа все круче тянется в гору.

— Ночевка сегодня будет выше, чем вершина во-он того пика, — кивает Рыжий на одинокий каменный палец.

По вертикали до него с километр. Неужели за день наберем столько высоты? Ни за что не осилить!

К середине второго дня пересекаем границу леса. Дальше идет горно-тундровая зона с ее оригинальной фауной и флорой. Неподалеку от нас важно прошествовала куропатка с семью малышами — птицы вели себя на редкость спокойно, не боялись человека. Непуганные. Время от времени раздавался своеобразный посвист, и Рыжий пояснил, что это тарбаган — черношапочный сурок. Один раз на крупном валуне увидели этого забавного толстощекого увальня. Флора небогата: кустики шикши черной, несколько видов песчанок да камнеломок, из мхов — преобладание исландского и оленьего. В изобилии растут два вида рододендрона: золотистый и Редовского. Первый — с ярко-желтыми цветками и крупными, сантиметров пять длиной, вечнозелеными листьями; ствол второго — не выше десяти сантиметров, на вершине — крохотный красный цветок.

К вечеру третьего дня дошли, наконец, до озера, из которого вытекает Бюрокан, он же Кодар, он же Кривой — в зависимости от выбора составителей карт. Но чаще все же употребляется название Бюрокан. Берега озера задернованные, подходящие для разбивки лагеря. Но невозмутимый Рыжий снова командует “подъем”.

— Это первое озеро, а стоянку разобьем под вторым, — говорит он. — Вообще-то я планировал остановиться у подножья пика...

Помогаем друг другу подняться — и снова вверх. До темноты предстоит набрать по вертикали метров сто. И откуда только силы берутся? Еда сверх-скромная: суп из магазинных пакетиков да чай. Только-только чтобы дышать. А мы ведь идем, работаем...

— Движение, да еще равномерное, это не работа, — утверждает Гузий. — Как и покой. Физику знать надо...

— А когда же работа начнется?

— За ужином!

Если бы не такие разговоры, не одолеть бы нам подъем ко второму озеру.

Уже смеркалось, когда достигли намеченной точки. Озеро во льдах. В ущелье темно. Подсвеченные лучами заходящего солнца перевалы Три Жандарма, Пионер, Сюрприз, Ленинградцев выглядят строго и неприступно. Может, это только вечером? Поражал воображение пик Безымянный, обрывающийся к озеру 600-метровой стеной.

— Давай его пиком Тында окрестим, — предлагает Рыжему Володя Гузий. Столицу БАМа он, как истинный первопроходчик магистральной трассы, боготворит. — По-моему, название подходящее...

— Это так просто не делается, — отзывается шеф. — На него сначала надо подняться, и желательнее в лоб, вот по этой вертикали. А потом уже и называй как хочешь...

— Неужто можно взять эту вершину в лоб? — искренне изумляюсь я. — По такой вертикальной стенке? И сколько времени требуется для этого?

Виктор Степанович прикидывает.

— Пожалуй, с неделю.

— Ну и сходили бы, — подзуживаю я.

Но, как всегда в разговоре с Рыжим, мимо! Оказывается, на пик БАМ они с Соловьевым зашли только ради Володи Гузия, с которым знакомы с десятков лет, и меня. Сами побывали на пике несколько раз, восхождение для них отработанное. Цель этого восемнадцатидневного маршрута иная: покорить пик Суровый, что находится в вершине речки Сюльбан. Похоже, на него еще не ступала нога человека, восхождение оценивается по четвертой—пятой категории сложности. В 1986 году на пике Суровом готовилось проведение Всесоюзных соревнований по альпинизму, но не получилось, подвела погода.

— И вы взойдете? — бестактно спрашиваю я.

— Трудно прогнозировать, не увидев вершину, — отзывается Виктор Степанович. — Но попробуем...

Отужинавши, Виктор Степанович рассказал об истории восхождения на пик БАМ, о самой вершине. До строительства “магистрали века” самая высокая точка Кодарского хребта исчислялась 2999 метрами. Потом она “подросла”: известный краевед Л. Пластинин называл высшую точку хребта Кодар с отметкой 3073 метра, по оценкам В. Преображенского — она составляла 2999,8 метра. И только с 1987 года на всех картах цифра однозначна — 3073.

Первые сведения о покорении вершины 3073 — относятся к 1963 году, хотя, как доказывает уже упомянутый Анатолий Емельянович Снегур из Чары, на нее поднимались и раньше. Первые известные покорители — читинские альпинисты под руководством А. Кузьминых. На правах первооткрывателей они дали ей название — Локомотив. Поздние восходители называли этот пик и Мраморным, и Кодаром, и дважды — БАМом. Но ни одно из названий почему-то не утвердилось, и пик долгое время считался безымянным, обозначался на картах цифрами 2999, 3072, 3073. И только в последние годы за ним закрепилось название “БАМ”.

Не теряя времени, руководитель маршрута показал (преимущественно мне, поскольку остальные члены группы с техникой скалолазания были знакомы в совершенстве), как пользоваться приспособлением для подъема “жумаром” и для спуска — “рыбкой” или

“лепестком”. А также узлами: “схватывающим”, “проводником”, “стременем”, — которые могли пригодиться при восхождении и спуске.

Выход наметили на пять утра, а потому Виктор Степанович заставил каждого из нашей шестерки (столько уходило на покорение пика) проверить подгонку грудных обвязок. Фирменной мне не хватило, и Рыжий принялся вязать ее из основных и вспомогательных веревок. Ему пришлось изрядно почертыхаться. Во время этой самой подгонки я ощущал себя в роли коня, на которого в первый раз надевают упряжь. Все не сходилось, жало, давило.

— Подбери живот, — командует Виктор Степанович. — Длины основной веревки чуть-чуть не хватает.

— Я уже подобрал, — отвечаю, заливаясь краской.

Виктор Степанович чертыхается, заменяет шнур широким ремнем. С ним чувствую себя получше, но не намного. Это здесь, на ровном... А на подъеме и спуске вся эта амуниция наверняка врежется в тело. Руководитель угадывает мою тревогу.

— Все будет хорошо, — успокаивающе говорит он. — А сейчас всем спать. Подъем будет ранним...

Я бы добавил: особенно для дневального. Ему необходимо встать на пару часов раньше всех, раскочегарить примус, который никак не хочет разгораться, и сходить за водой. А потом еще варка, мытье посуды...

В ту ночь перед восхождением дежурить выпало Свете Сологубовой. Но Володя Гузий — бамовский поэт и мой коллега по журналистике — поступил по-рыцарски. Встал в три утра, сварил завтрак, вскипятил чай и только потом разбудил Светлану и остальных.

Базовый лагерь покинули до пяти утра. Подножье пика в черной тьме, а вершины высвечены позолотой нарождающегося утра. Сейчас бы птичкам запеть... Но птички в лесу, а в горах с живностью проблема. Спускаемся к озеру, огибаем его по кромке потрескивающего льда. Но вот и оно позади, идем по выложенному ледником руслу. По обе стороны крупноглыбовые осыпи. Пик где-то справа, в заоблачном поднебесье.

Есенин говорил: “Большое видится на расстояньи”. Но только попав в самое сердце хребта Кодар, я всерьез понял неистовое стремление чарских экологов создать в этих краях природно-исторический национальный парк. Здесь впечатляет все: и крутосклонный альпийский тип рельефа, и многокилометровые наледи, и внушительные водопады — по несколько сот метров. А самая отличительная особенность северного Забайкалья — наличие современного оледенения: на сегодняшний день здесь насчитывается 39 ледни-

ков... Уникальна фауна и флора. В горах водятся горный баран и кабарга. За один выход на Кодар, если повезет, конечно, можно набрать приличное количество целебного лекарственного образования — мумие. А на узких карнизах берегов ключей и речек в изобилии растет золотой корень — так местные жители называют родиолу розовую. Красиво смотрится расположенное у подножья Кодара знаменитое урочище Чарские Пески. В длину оно около 15 километров, в ширину — три—четыре. Пятидесятиметровые барханы, поющие пески — все впечатляет. Среди урочища, ставшего любимым местом отдыха жителей районного центра, есть озеро Красавица, из которого вытекает ключ Аленка...

Но вернусь к маршруту... До скального участка идем не связываясь, каждый отвечает за себя. Но вот осыпь позади, начинается стенка. Первый участок окрещен почему-то “Серпом”. Чтобы скрыть нарастающее волнение, пытаюсь острить.

— А “Молот” будет?

— Будет, будет, — “успокаивает” Виктор Соловьев. — За два дня восхождения намолотимся...

Виктор Степанович дает последний инструктаж.

— Очень прошу быть поаккуратнее с камнями, — чуть-ли не умоляюще говорит он. — Старайтесь оставлять их там, где они лежат...

Это понятно: подъемы осуществляются по трещинам и кулуарам, а падающие сверху камни выбирают тот же путь.

Связываемся по трое. Виктор Степанович, естественно, идет первым, в середине Светлана Сологубова, замыкающим — автор этих строк. Другую связку возглавляет Виктор Соловьев. Техника движения у ребят отработана с точностью до миллиметра: Рыжий уходит вверх на всю веревку — 50 метров, закрепляется там и с верхней страховкой помогает подниматься другим. И так много-много раз.

Вспомнилось: кочевые якуты или эвенки, например, никогда не скажут, что до того или иного места осталось столько-то километров. Они выразятся иначе: “четыре поворота реки”. А за сколько их одолеете — дело ваше. В чем-то схожа и альпинистская терминология. Восходитель не скажет: “До вершины сто—двести метров”, — для него это “несколько веревок”.

Оба Виктора в горах чувствуют себя как дома. Маршрут проходят красиво, словно законы тяготения на них не распространяются. Одним словом, профессионалы. Открытие при крохотной, в общем-то, станции Куанда крупного туристического центра для учащих и преподавателей “Бамстройпути” — их заслуга. Многим сотням туристов передали они свой опыт. И не только своим, читинским,

но и амурским тоже. Идущие с нами в связках Светлана и Галя — подтверждение этому. Кстати, на их счету два трехтысячника северного Забайкалья: пики Солнечный и Москва.

— Веревка свободна! — кричит сверху Виктор Рыжий. Он поднялся на ее длину, закрепился и теперь ожидает нас.

— Иду! — отзывается Светлана.

Левая рука скалолазки на жумаре, правая — на схватывающем узле. Жумар продвигается только вверх, вниз автоматически стопорится. Вроде бы просто, но в горах и двух схожих ситуаций не бывает, каждая — нестандартная. Надо быть готовым к неожиданностям.

С утра подъем, с утра
И до вершины бой...

Монотонность движения несколько расслабляет. Или это просто от нехватки опыта? Но раздавшийся сверху острый, как нож, крик: “Камень!” — вмиг переносит в суровую реальность.

Булыжник сорвался из-под ноги Виктора Рыжего. Винить шефа не за что: каждый камень на Кодаре “дышит”, неосторожное движение — он сразу летит вниз. Размер этого — с футбольный мяч, летит — ну, прямо в меня! Все инструкции, как держаться в таких случаях, мигом вылетели из головы, и я буквально ввинчиваюсь в стену. Камень проносится в каких-то сантиметрах. Интересно, выдержала бы каска его удар, если, не дай Бог... Впрочем, может быть, и выдержала бы, но вот голова — едва ли...

Напротив пика — безымянная вершина, которую походивший по горам Алтая и Тянь-Шаня Володя Гузий окрестил Пумори (есть такой спутник у знаменитой Джомолунгмы). Ее высота — около 2800. После каждой веревки невольно бросаешь взгляд в ту сторону. Двенадцатый час подъема, а мы только-только вышли на уровень ее вершины. Значит, до макушки пика БАМ еще триста метров по вертикали. А ноги гудят, в руках уже нет прежней силы и цепкости.

— Ка-амень! — доносится сверху.

Оказывается, и силы есть, и бдительность не ослабла.

Выходим на снежник. Крутизна небольшая, градусов под сорок будет, сложности этот участок не представляет. Место нашим Викторам знакомо, поднимались когда-то этим путем. Не желая повторяться, ребята решают пробиться к северному склону. Соловьев доходит до края полки и огорченно присвистывает. Вверху стометровая скальная стена, внизу — двухсотметровая пропасть. Нет, этого участка группе не одолеть, хотя Соловьев оценивающе прикидывает неровности стенки. Наверняка они с Рыжим поднялись бы в лоб!

Но делается поправка на нас с Гузием. Группа уходит по полке, чтобы отыскать подходящий для подъема кулуар.

Не от чрезмерных щедрот, а в силу необходимости Соловьев выдает нам граммов по пятьдесят сомнительного на вкус сыра и по паре крохотных витаминок. Но разве этим утолишь голод? “Нам бы ногу оленя и по буханке хлеба бы, только вот, к сожалению, ничего у нас не было”, — писал как-то заядлый турист из Новосибирска Борис Колпаков.

— Ужинать будем на вершине, — успокаивает Рыжий.

Ловлю себя на том, что все чаще смотрю вверх. Но вершина не приближается. На фоне фиолетового неба она кажется все такой же далекой и неприступной.

Снова сложный участок, снова навешиваем “перила”. Какие они по счету? Двадцатые? Тридцатые? Счет давно потерян, чувство опасности притупилось. Успеем ли мы засветло добраться до вершины?

А стенка заканчивается очередным снежником, который снизу казался крохотным носовым платком. С трудом нахожу место базового лагеря: установленная там пятнадцатиместная шатровая палатка “Тайга” кажется отсюда не больше монетки. Где-то там остались члены группы, мой Артемка. Из лагеря, наверное, мы кажемся не больше муравьев, если вообще различимы.

Крутизна внушительная, достаем ледорубы, летят вниз крошки льда, снега. На чистой снежной поверхности вижу каких-то жучков и бабочку. Первым, похоже, и холод нипочем, маршируют по снегу вверх-вниз. А вот бабочка едва жива. Ее-то каким ветром сюда занесло? Страховки хватает, чтобы дотянуться до крапивницы, обогреть в ладонях, подкинуть вверх. Может, выживет?

Первая связка ушла вверх с час назад, от нее ни слуху, ни духу. Наверное, участок сложный попался. У подножья снежника застряли лишь мы со Светланой. Она чем-то смахивает на Виктора Соловьева — такая же непоседливая, азартная: кажется, разреши ей штурмовать в лоб вот эту стенку — и, ей-Богу, пойдет!

Крохотный валун на трехкилометровой высоте с наброшенными на него страховочными петлями, конечно, не самое лучшее место для разговора. Но не стоять же молча!

— Светка, — говорю я. — А на “гражданке” ты чем занимаешься? Ну, там, внизу, на работе?.. Кроме своего инструкторства по туризму? Есть какое-нибудь хобби?

Если бы я не был подстрахован, наверняка после ее ответа свалился бы в пропасть.

— А на рынке торгую, Виктор Егорович, — усмехнулась она. — Знаете, азарта не меньше, чем в горах. Острота ощущений схожа...

Кто кого? Или я покупателя, или он меня.

Ошарашенный такой откровенностью, я не сразу нашелся с продолжением разговора.

— Каждому свое! — усмехнулась Светка и ушла вверх по склону. Легко, непринужденно, красиво, раскованно. Я приготовился было тоже начать подъем, как сверху донеслось:

— Повремени, Егорыч, всем тут не уместиться...

И снова томительные минуты ожидания. От ушедших наверх никаких известий. И если бы не уходящая в поднебесье страховка, все происходящее казалось бы сплошной ирреальностью...

Наконец-то!

— Веревка сво-о-бодна!..

Вбиваюсь в вырубленные ребятами ступени, помогаю ледорубом. Снежник заканчивается кулуаром, крутизна которого градусов под восемьдесят. Понимаю, почему так долго задержалась здесь группа. Снегу по пояс, влага проникла даже под куртку.

Метрах в пятнадцати над собой вижу подстраховывающего меня Рыжего. Настроение сразу улучшается. Правда, до него еще добраться надо, но это, как говорится, дело техники. К тому же, последнему подниматься легче, чем первому.

— А ребята уже на вершине, — буднично говорит Виктор.

Уже? Неужто одолели? 36 лет мечтал я об этом мгновении, и вот оно наступило! Сбылась, как говорил Бендер, мечта идиота. Хотя, постойте, если человек осознает, что он дурак, то он уже не дурак. И моя "идиотская" мечта все же заслуживает уважения. Оказывается, все осуществимо! Жаль, что в юношеские годы я не захотел, к примеру, стать министром финансов... Хочу поделиться переполнившими меня чувствами с Рыжим, но он примостился на таком крохотном пятачке, что мне и ногу поставить некуда.

— Кулуар выходит к вершине, — объясняет Виктор. — Ребята уже там...

Сам он на пике уже четвертый раз, азарта у него поубавилось. Да и я, признаться, подрастерял его на полках, в трещинах, каньонах... И все же тороплюсь наверх. Натыкаюсь на брошенную первой связкой веревку: последние метры перед вершиной пологи, можно обойтись и без страховки. Вижу фотографирующихся ребят.

— Егорыч, скорее! — машут они руками.

Пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Четвертая попытка завершилась победой! Отлично понимаю, что без двух Викторов — Рыжего и Соловьева — мне бы пик не одолеть, но я ведь тоже был один на один с веревкой, со стенками, со льдом и снегом, с трещинами и кулуарами. Не-ет, и мы не лыком шиты!

Соловьев и Галя Надышева одаривают нас праздничным ужи-

ном: каждому по шоколадке, граммов по пятьдесят халвы и по несколько конфет. Роскошь! Соловьев приготовил каждому по паре закопченных гольянов — специально припас для пика. Есть хочется зверски. Ловлю себя на том, что запихиваю в рот шоколадку вместе с рыбкой...

Щелкают фотоаппараты, которые оказались почти у каждого... Вершина в крупноразвалистых глыбах, площадка ее примерно десять на десять метров, и установлена здесь четырехугольная пирамидка из полых дюралевых трубок. Отыскиваем под пирамидкой консервную банку с вложенной запиской предыдущих покорителей пика. Это трое ребят из Комсомольска-на-Амуре: И. Бенедык, Е. Загородний и Р. Храмцов. Записку забирает Виктор Степанович, для коллекции. Взамен оставляем свою. Вот ее текст: "Группа в составе шести человек: В. Рыжий, В. Соловьев, Г. Надышева, С. Сологубова, В. Гузий и В. Волчков поднялись на пик 19 июля 1993 года по восточной стене. Спускаемся по гребню в сторону озер. Всем удачи!" Еще мы с Гузием оставляем на пике по газете, в которых сотрудничаем. Он — многотиражку "БАМ", я — "Амурские вести".

А в голове появляется мыслишка: может, попытаться уговорить Рыжего заночевать на вершине? Площадка есть, погода нормальная. Но шеф пресекает даже мысли о таком варианте.

— Через полчаса уходим, — говорит он. — И еще. Если будем так же медленно спускаться, как поднимались, то завтрашнего дня не хватит, чтобы добраться до лагеря.

Гузий на этот демарш откликнулся четверостишием:

И нет здесь ничего,
Ни золота, ни руд,
Здесь только и всего,
Что Рыжий очень крут...

Виктор Степанович по-прежнему на самом трудном участке. На восхождении шел первым, на спуске — последним. Первую веревку, где спуск выполнялся по некрутой осыпи, разрешил идти на скользющем узле. Так быстрее, хотя риск возрастает. Но если на восхождении в некоторых местах я пренебрегал даже страховкой, то сейчас вдруг стал намного осторожнее — неистово захотелось жить. И спускался на более надежном "схватывающем" узле.

Техника спуска тоже в теории несложна. Рыжий осматривает предполагаемую трассу спуска, кидает вниз веревку, по которой тут же "ныряет" Виктор Соловьев. Окончательное слово за ним. Вот и на этот раз он прокричал снизу, что на полке, пожалуй, можно устроиться на ночлег.



На снимках: вверху — пик БАМ; внизу (слева направо) — Светлана Сологубова, Галина Надышева, Владимир Гузий, Виктор Соловьев, чьим именем через год будет названа одна из вершин Южно-Муйского хребта, и Виктор Волчков.



Полка — она и есть полка: длиной метров в восемь и шириной в полтора. Чтобы разместиться, предстоит повкалывать. Выравниваем площадку, крупные валуны сталкиваем в пропасть, мелкими устилаем место бивака. Каждый прихватил с собой пуховый спальник, замерзнуть не должны, хотя головы будут покоиться на ледяном торосе. Для безопасности натягиваем страховочную веревку, к ней на время сна надо пристегнуться карабинами.

Кашеварил опять же Володя Гузий, за что я бы ему поставил памятник. Разжег примус, сварил кашу. Объявил, что это манка, хорошо бы для вкуса добавить в нее по ложке сахара. Сахар и сухари у каждого с собой. Выполняем совет повара, съедаем ужин без остатка. И только на последней ложке разбираемся, что вместо манки в котел было засыпано картофельное пюре. А мы его — с сахаром...

Утро начинается спуском с сорокаметровой стенки, имеющей к тому же отрицательный угол. Ушли вниз Соловьев, Светлана, Галина Надышева. Пристегиваюсь к основной веревке и я, креплю “рыбку”, вяжу схватывающий узел. Теперь следует развернуться спиной к пропасти, оттолкнуться и...

Вроде бы все просто, но оказывается, в первый раз решиться на такое трудновато... Теряю несколько секунд, перебарываю неприятные ощущения под ложечкой...

И — о чудо! Скольжу по веревке, регулируя скорость с помощью “рыбки”. Вес мой с рюкзаком, наверняка, за сотню, веревка после ночевки обледенела, скорость скольжения спуска нарастает. Верхонки нагреваются и обжигают руки. Резко стопорюсь на схватывающем узле, и меня несколько раз разворачивает вокруг веревки. Крутятся, как в калейдоскопе, перевалы Три Жандарма, Преображенского, Сюрприз, Пионер. Над головой — фиолетовое небо, вокруг панорама вздыбившихся пиков. Посередине всего этого я. Ощущаю радость и восторг от происходящего...

Минуты через три я присоединился к уже спустившимся ребятам. Виктор Соловьев оценил мою технику спуска коротко: “Молодец!” Всего раз похвалили за маршрут, а я так и не понял, за что... Кстати, и дальнейший спуск был достаточно сложным. Девчонки весь маршрут проходили блестяще, оба Виктора просто профессионально, и только мы с Володей Гузием несколько не вписывались в этот ансамбль.

Но вот и последняя веревка позади, началась осыпь. По ее понижению протянулся снежник, уходящий в долину. Перебираемся на него и, регулируя скорость ледорубами, летим вниз по рыхлому снегу. Неожиданно ловлю себя на чувстве обиды к Виктору Степановичу, который почему-то не поздравил нас с покорением вершины. Лишь много позже я узнал, что 90 процентов всех ЧП и нештат-

ных ситуаций происходит именно на спусках. Видимо, поэтому Рыжий и решил с поздравлением повременить.

Наконец-то мы на твердых обетованных камнях древней долины ледника. И тут РВС, улыбнувшись, приказал нам построиться, тут и поздравил с покорением пика БАМ.

Краснея от чувства неловкости, я пролепетал слова благодарности в адрес шефа.

— Все хорошо, Егорыч, — ободряюще говорит он. — До будущей горы!

А в базовом лагере нас ждали с нетерпением. Артемка покровительственно похлопал меня по плечу: нормально, мол, батя! Нина Полетаева, Галя Куракина, Надя Науменкова и Анжела Кустова исхитрились испечь на примусе шоколадный торт, сварили какао. Приступать к торжественной трапезе небритым было совестно, и я, прихватив кружку горячей воды, направился к озеру. Привел себя в порядок, повернул к палатке. И увидел на обломке скалы плачущую Галю Надышеву. Что ж, каждый выражает эмоции по-своему.

... Расставаться всегда грустно, а в горах — тем более.

Дальнейший маршрут группы — на пик Суровый, а нам с Артемкой — в Чару. Так уж получалось, поджимало время. Подружившись за пять дней маршрута, Володя Гузий и Артемка обмениваются на прощание колкостями. С нарочитой одобрительностью Гузий говорит, что с таким мужиком, как Артемка, он пошел бы в разведку.

— А я бы с вами, дядь Володя, в контрразведку, — парирует сынишка.

Гузий смеется.

— Сам придумал?

— Батя научил...

Зная мое пристрастие к минералогии, Светлана протягивает на ладошке голубоватый осколок, в котором я узнаю чароит. Она нашла его у самого подножия пика. Усмотрела как-то среди камней! Видно, есть чароит на БАМе, хоть снаряжай экспедицию на его поиски.

Наш выход с гор растянулся на пять дней. В поселке разыскали уже упоминавшегося Анатолия Снегура, — собкора "Забайкальского рабочего", — который тоже увлекается горами. Он сразу понял, что последние продукты мы съели дня три назад, а потому выставил на стол полные чаши угощений со своего огорода, без всякого преувеличения, самого лучшего в Чаре.

Анатолия Емельяновича всерьез беспокоило освоение знаменитого Удоканского месторождения меди.

— Один из соучредителей Удоканской горной компании Эдвар

Вонг взял да и отказался от своих обязательств, понимаешь? А УГК вышла напрямую на правительство Российской Федерации. Но ближайший конкурент компании на тендере — австралийская Би-Эйч-Пи...

Под мои веки словно песку насыпали... После баньки и сытного обеда клонило ко сну. И слова Анатолия в цель не попадали. Выждав паузу в его красочном повествовании, я только и произнес:

— Коллега! Давай продолжим наш разговор завтра... А?

* * *

Пик Суровый ребята покорили. Как и предполагали, пирамидки или тура на нем не оказалось, так что не исключено, что они были первыми. Взошли на него Света Сологубова и Нина Полетаева. А Рыжий и Соловьев отыскали еще один безымянный пик, поднялись на него и на правах первопокорителей окрестили коротко и просто — “Русь”. Восхождение, рассказали позже ребята, было сложным, вершина пика — остроконечная, двоим не разместиться. Но они ухитрились даже соорудить там крохотный тур, под которым оставили записку о своей победе.

Уже тогда они мечтали о покорении новых вершин. Но в канун Нового года из Куанды сообщили, что Виктор Соловьев разбился... На сорок дней со дня его гибели в Тынде, на квартире у Владимира Гузия, собрались туристы и альпинисты, его друзья, пили вино и пели его любимые песни.

А я связался с кооператорщиками, которые сейчас по моему заказу делают памятник Виктору Соловьеву. Это будет разборная четырехугольная пирамида из “нержавейки”, помещающаяся в рюкзаке, с цветным портретом Виктора Соловьева на керамике и словами “ОН ЛЮБИЛ ГОРЫ”.

Вершина Южно-Муйского хребта с отметкой 3068 метров пока что не имеет названия и не исключено, что на нее не ступала нога человека. Виктор Рыжий поведет на нее нашу группу. И если восхождение завершится удачей, на правах первопроходцев мы будем иметь право дать ей название “пик Виктора Соловьева”.

Артемка тоже собирается с нами...

1994 г.

ОТ АВТОРА. Летом 1995 года, как и намечалось, наша группа взошла на одну из безымянных вершин Южно-Муйского хребта и на правах первовосходителей дала ей название Пик Соловьева. Памятник нашему погибшему товарищу венчает теперь эту вершину.



Валентина Кобзарь

“ДЯТЕЛ, БЕСПАРТИЙНЫЙ”

История повторяется. Не раз уже сравнивали наше время с переломными и судьбоносными годами пролетарской революции. Пока трудно сказать, какой из двух исторических моментов трагичнее, только при ближайшем рассмотрении оба они распадаются на отдельные маленькие человеческие трагедии.

Я расскажу, что знаю о жизни и трагической смерти талантливого человека, который не смог пережить ту, давнюю, революцию.

В Благовещенске Ф. И. Чудаков появился в 1908 году, как утверждает один из источников, он бежал из ссылки в Енисейской губернии. Ему было чуть больше двадцати лет.

По моим сведениям, до появления на Амуре он учительствовал в гимназии, не раз отбывал предварительное заключение и находился под надзором полиции как политически неблагонадежный.

Вскоре по приезде в Благовещенск Федор Иванович женился на Варваре Ипполитовне, которая взяла его фамилию. В положенный срок родилась дочка. Назвали Наташей.

Варвара Ипполитовна в течение нескольких лет преподавала в женском училище им. Л. Н. Толстого, что располагалось на 1-й Забурхановской. Ради дополнительного заработка время от времени набирала группы детей для подготовки их к гимназии. То ли по политическим мотивам не разрешали, то ли сам не пожелал, только Федор Иванович не стал учительствовать. Он посвятил себя журналистике.

При самом активном участии Чудакова издавались журналы “Зея” и “Колючка”. Он сотрудничал в газете “Амурское эхо”, редактировал газету “Голос труда”, был редактором, издателем и основным автором сатирического журнала “Дятел, беспартийный”. Вышли в свет два его стихотворных сборника.

Творческая активность и работоспособность Чудакова поразительны. Некоторые номера газет и журналов, к которым он имел отношение, процентов на 70—90 написаны им одним. Он выступает в самых разных жанрах, пишет много и талантливо.

Даже в благовещенской тюрьме Чудаков умудрился издавать газету. Называлась она соответственно: “Арестант”.

Это было в 1909 году. Тогда “в тюрьме увлекались выделкой из коровьих рогов всевозможных мелких вещей и вязанием неводов, — вспоминает товарищ Чудакова по заключению И. Сивков. — Физический труд не манил к себе Федора Ивановича. Он не расставался со своим маленьким блокнотом. Не писать и не делиться своими мыслями он не мог. Стихи, басни, проза, шаржи так и лились из-под его пера.

...Он влил в нас душу живую, поднял общее настроение. У каждого проснулась жажда жизни”.

Кстати, в тюрьме Чудаков оказался тоже из-за пристрастия к сочинительству.

“Главному управлению по печати так понравился сборник “Шпильки”, что оно через прокурора распорядилось приобрести все издание для нужд правительства и тщательно сохранять его в архивах жандармского управления. Приобретение состоялось, как говорится, “даром”, ибо денег автору не заплатили, но так как все-таки было неловко ничего не платить, то автору дали в виде единовременного пособия шесть месяцев тюрьмы. Автор был недоволен”. Это из воспоминаний Чудакова.

То, что он за брошюру, чем-то не понравившуюся цензорам, на полгода угодил в тюрьму, в те времена было делом обычным. Газетчики, главным образом редакторы, то и дело попадали под суд, штрафовались, арестовывались. Неважно кормившее газетное дело было прямо-таки опасным. Да и хлопотным не меньше, чем теперь.

Сотрудники редакций сами оформляли подписку, сами продавали свои издания, рассылали их подписчикам. Чудаков однажды описал подобный случай.

“...сам лично сфальцевал, сбандеролил, наклеил адреса, и, не щадя собственного языка, на каждую бандероль наклеил марку, сам лично снес на почту”...

В другой раз Чудаков пишет, обращаясь к читателям: “Если почта не доставила номер, напишите нам, мы вышлем снова. Если

опять не доставит — вернем деньги, объявим забастовку, откроем собственную почту”.

Все повторяется: недавно и наши журналисты этим же грозили.

Переписка с читателями шла тут же, на газетных и журнальных страницах, причем в очень непринужденной манере.

“Не тащите нам своих произведений. Для этого в городе заборы есть!” “Двух недель не прошло, как начал выходить журнал, а уже регенты появились: то пишите, это нет и не так. Откройте лучше свой журнал, а нас оставьте в покое”. Цитаты из “Дятла, беспартийного”, последнего детища Чудакова. На свет он появился в январе 1918 года.

Шел третий месяц революции. Только-только в Благовещенске установилась власть Советов.

Последователь народников, убежденный социал-демократ, по социальному положению “пролетарий умственного труда”, по достатку человек скорее бедный, чем обеспеченный, не знаю, как встретил Чудаков февраль и октябрь 17-го, но в январе 18-го года он явный противник и язвительный критик новой власти.

Их неприятие — власти и поэта — было взаимным. Стихия революции не признавала за своих не только богатеев-буржуев, но и “тилигентов”, большую часть которых на Амуре составляли сосланные революционеры различных направлений. Таким образом в число контрреволюционеров Чудаков попал автоматически.

Не будь этого, уверена, он сам выбрал бы место в оппозиции режиму. Ведь в ходе пролетарской революции попорченной, извращенной оказалась идея счастливого будущего, равенства и братства, ради достижения которых Чудаков, сотни тысяч таких, как он, революционеров, “по централам вшей кормил, на Вилюе волком был”. Из почти святого мученичества, жертвенности и верности идее политическая борьба стала предметом купли-продажи. “Дятел” словами Чудакова писал об этом так.

“Кто был доселе апатичным, ко всем ”движеньям” безразличным, тот делался весьма приличным “эсером” иль “меньшевиком”. Кто зубы грешных кулаком дробил на всякие манеры, в “большевики” или “эсеры” “вступал” без всяких лишних слов. Кто за подлоги был в остроге, кто был в остроге за поджоги.., и рысью, с места в демагоги”.

К последним Чудаков относил, очевидно, и Ф. Н. Мухина. Они одновременно отбывали срок в благовещенской тюрьме в 1909 году: Чудаков среди политических, Мухин был старостой у уголовников. Об этом пишет В. Сивков в своих воспоминаниях.

В “Хронике прогресса” один из разделов “Дятла, беспартийного” Чудаков рассказывает: “За январь 1918 года в Благовещенске

зарегистрировано: краж — 44, поранений — 11, ограблений — 18, убийств и самосудов — 17” (в числе последних растерзанные толпой прапорщик, не пожелавший снять погоны, и заступившаяся за него сестра милосердия, дважды раненная на фронте империалистической войны).

Читаем “хронику” дальше. “В области: земств разогнано — 8, школ закрыто — 2, открыто — 0, лекций прочитано — 0, молотилок сделано — 0, резолюций вынесено — 1458”.

“Ах, недолго ждать развязки этой жутко-страшной сказки. Это плод лишь опьянения молодым вином свобод”. Так считал Чудаков, к нему присоединялись многие. Действовали по-разному, одни надеялись что-нибудь успеть урвать, другие думали пересидеть дома смутное время. Чудаков задибался, критиковал, кстати, не только большевиков, и строил планы на будущее.

Издавая почти в одиночестве “Дятла” (семь номеров выпустил за семь недель), одновременно он редактировал ежедневную большеформатную народно-социалистическую газету партии социалистов-революционеров “Голос труда”. Объявил подписку на 18-й год на оба издания. Планировал в ближайшее время выпустить серию книжек, посвященных произведениям амурских авторов. Умирать не собирался.

26 февраля 1918 года вышел последний, седьмой номер “Дятла, беспартийного” (тогда еще никто не знал, что он будет последним).

За несколько дней до этого четыре тысячи противников власти во главе с казачьим атаманом Гамовым подняли мятеж. 28 февраля началось наступление на город 12-тысячного революционного отряда.

На следующий день утром Чудаков застрелил из ружья дочь и жену, застрелился сам...

“В самый разгар уличной бойни Федор Иванович сидел в квартире со своей великой душевной скорбью, — вспоминал впоследствии М. Катаев. — Домовладелица и другие знакомые приносили жуткие известия о гибели друзей Федора Ивановича, об убийствах безоружных граждан в их квартирах, грабежах и всяческих насилиях и издевательствах...”.

Сотни горожан, главным образом домовладельцы, пытались как-то сопротивляться. Многие бросились искать спасения на другом берегу Амура, переходя реку по льду. Почему Чудаковы выбрали свой путь?

Дар предвидения или же чрезвычайно ясное понимание происходящего утвердили Федора Ивановича в том, что “кроваво-страшная сказка” только начинается, война властей с собственным народом продлится долгие годы.

Сохранить жизнь можно было только ценой предательства: записаться в правящую партию, отречься, как от врагов, от товарищей по тюрьмам и ссылкам, или воевать против народа. Предательству Чудаков предпочел смерть.

Как страшно и тяжело было решиться на подобный шаг Варваре Ипполитовне, можно только представить, но она поддержала мужа, как делала это почти десять лет совместной жизни. Вместе с ним четким учительским почерком подписала она последнюю записку. "...Уходим честными и чистыми..."

Гибель Чудаковых потрясла интеллигентную, читающую часть горожан. "...личность поэта сделалась символической, олицетворяющей великую скорбь, муку и боль за поруганную родину, за оплеванные идеи народного счастья". Эти строки опубликованы в журнале "Чайка" за 1918 год, посвященном памяти Чудаковых.

Товарищи и знакомые Чудакова, а их, видимо, было множество, сумели организовать посмертное издание его пьесы "Изгнанники". Задумали поставить памятник поэту и даже начали сбор средств.

Революция продолжалась. Она смела, как ненужную мелочь, идею увековечения памяти поэта, авторов этой идеи, потом — могилы Чудаковых на старом кладбище в Благовещенске, затем и память о талантливом поэте, неистовом журналисте.

А. Вайсман,
кандидат филологических
наук, доцент БГПИ.

ТЕАТР БЕРЕТ МЕЧ



Когда справедливость слепнет, купленная золотом, и молчит на службе у порока... театр берет в свои руки меч и весы и привлекает порок к справедливому суду.

Ф. Шиллер.

Верность идеалам гуманизма, стремление к показу человеческой личности в контексте времени неоднократно позволяли Амурскому театру драмы ставить и решать большие художественные задачи. И

в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период напряженной борьбы идей и направлений в области культуры немалый интерес проявлял коллектив театра к творчеству писателей-антифашистов. И это не удивительно. Мы никогда не сможем забыть трагедии, на алтарь которой наш народ принес более 27 миллионов человеческих жизней.

Еще в годы Великой Отечественной театр, отдавая все силы делу Победы, ставил произведения, зовущие на защиту Родины. Первый военный сезон был открыт спектаклями "Парень из нашего города" К. Симонова и "Честь" Г. Мдивани. Прямым откликом на происходящие события явился скетч "Кафе Адольфия", разоблачающий фюрера и его подручных.

Творческий коллектив обращался и к героическому прошлому народа, поставив в ноябре 1941 года "Ключи Берлина" К. Финна и М. Гусса, а несколько позднее такие спектакли, как "Надежда Дурова" К. Липскерова и А. Кочеткова, "Давным-давно" А. Гладкова.

С 1942 года начали появляться спектакли, непосредственно посвященные событиям Великой Отечественной. С энтузиазмом принимали зрители постановки "Батальон идет на Запад" Г. Мдивани, "Партизаны в степях Украины" А. Корнейчука, "Русские люди" и "Жди меня" К. Симонова, "Нашествие" Л. Леонова, "Урок жизни" В. Головчинера, "Бессмертный" А. Арбузова и А. Гладкова, "Песнь о черноморцах" Б. Лавренева, "Солдаты Сталинграда" Н. Вирты.

"Зрители сидели в пальто и валенках, актеры, сыграв свои роли, бежали за кулисы, где стояла небольшая "буржуйка" и, сгрудившись около нее, отогревали руки и ноги". (Назарова Р. Ф. "К истории Амурского драматического театра 1883—1951 гг.". Сб. студенческих научных работ БГПИ, Амурское книжное издательство, 1953 г.). Заслуженный работник культуры Дмитрий Шубинский вспоминает, как приводили в чувство для выхода на сцену единственного скрипача и композитора театра Владимира Захаровича Орлова, буквально заледеневшего в своей нетопленной комнатенке. Но творческая жизнь театра не приостанавливалась ни на минуту.

В 1943 году в Фонд Оборона коллективом театра было передано 100 тысяч рублей. Всего за время войны театр дал чистой прибыли и перевел в доход государства до 800 тысяч рублей, первым в крае отказался от дотации.

По инициативе амурских артистов был начат сбор денег на постройку эскадрильи бомбардировщиков, в котором приняли затем участие все дальневосточные театральные коллективы.

Поэт французского Сопротивления Жак Марсенак очень точно сказал об этих годах: "Был хлебный паек и был паек поэтический. Оба — чтобы выжить".

Каждый спектакль становился орудием, бьющим по врагу. Художественный руководитель театра тех далеких лет заслуженный артист Аз. ССР А. Иванов в статье "Благовещенский театр в дни войны" писал: "В новом сезоне актерский коллектив обязался всеми средствами театрального искусства звать массы на полный разгром в 1942 году лютых врагов человечества — фашистских бандитов".

Зрители с волнением слушали страстные строки литературно-художественных монтажей, поставленных актерами под девизом "Все для фронта, все для Победы". Так, перед постановкой пьесы А. Корнейчука "Партизаны в степях Украины", на фоне прекрасной песни "Ой, Днипро, Днипро..." звучали страстные слова любви и ненависти:

Украина родимая — волны полей,
Города лучезарные, белые хаты!
Украина! Горячею грудью своей
Ты встречаешь сегодня врага-супостата...

Идея интернационализма, пронизывающая выступления артистов, противостояла оголтелой фашистской идеологии расизма. Не случайно в том же 1942 году о шекспировском спектакле "Отелло" режиссер Я. М. Цейкинский скажет: "Культура человека не зависит от его расовой принадлежности. Мы знаем примеры высокого героизма цветных рас в борьбе за подлинную культуру и цивилизацию и знаем отвратительные поступки представителей белых, так называемых "избранных" народов, вроде немецко-фашистских бандитов, творящих подлые и мерзкие дела" (Амурская правда, 1942, 18 июля).

Война во весь рост поставила перед деятелями театрального искусства вопрос о необходимости их участия в борьбе с фашизмом.

В послевоенные десятилетия на подмостках амурской сцены звучали произведения Ю. Фучика и К. Симонова, Г. Гауптмана и Л. Леонова, Э. М. Ремарка и Б. Васильева, Б. Брехта и М. Шолохова, В. Розова, А. Салынского, Ю. Бондарева. Театр продолжал бить тревогу. Протест против расистской идеологии фашизма пронизывает многие послевоенные спектакли. Вспомним некоторые из них.

Особое внимание зрителей вызвала поставленная в 1953 году режиссером В. Марининым пьеса "Дорогой бессмертия", созданная по мотивам книги Ю. Фучика "Репортаж с петлей на шее".

Талантливо исполнил роль Юлиуса Фучика артист Федор Ломакин, сумевший создать характер человека чистой души, твердого и решительного, остающегося верным себе в самых нечеловеческих условиях фашистского застенка.

Артист Федор Ломакин, исполнивший роль Юлиуса Фучика в пьесе "Дорогой бессмертия", поставленной режиссером В. Марининым в 1953 году.



Творческой удачей были отмечены и созданные артисткой О. Высоцкой образ жены и верного соратника Юлиуса — Густины, артистом М. Мраковым — патриота Калининского. Среди типов эсэсовцев, живущих в атмосфере предательства, слежки, доносов, выделялась роль гестаповца Бэма, исполненная артистом Ушаковым, которому удалось всесторонне раскрыть черты искушенного врага, начавшего ощущать страх перед будущим возмездием.

Спектакль с его выразительной сценографией, музыкальным оформлением по произведениям чешских композиторов Дворжака и Сметаны, ставший событием в театральном сезоне, показал неразрывную связь между сценой и зрительным залом начала пятидесятых — времени ширящегося по всей планете антивоенного движения.

В 1957 году был создан спектакль по пьесе Эриха Марии Ремарка "Последняя остановка". Пьесу известного романиста и драматурга, страстного борца против войны и фашизма, наш Амурский театр поставил одним из первых в стране. Изображая события последних дней кровавой гитлеровской империи, автор показал полный развал системы, созданной нацистскими законами для завоевания мирового господства. На сцене ярко ожили персонажи Ремарка — выразители нестигаемого духа народа: Росс (арт. В. Ростовцев), Кох (арт. М. Клемантович), — испытавшие на себе все

ужасы нацистского режима, но сохранившие веру в будущее, закалившие волю и мужество.

Мастерски раскрыла противоречивый образ Анны Вальтер артистка О. Высоцкая, передавшая сложную эволюцию поведения своей героини, ставшей в ряды борцов с коричневой чумой. Запомнилась и работа арт. И. Носкова, создавшего образ хитрого, льстивого и коварного гестаповца.

Несгибаемым уходит из жизни Кох, бросив в лицо палачам свой приговор. Как клятва всех борцов, переживших ужасы войны, звучат слова Росса: "Такое не должно повториться!" Этой мыслью пронизывались и спектакли последующих десятилетий.

Так, в 1967 году в поставленном режиссером С. Васильевым по пьесе Константина Симонова спектакле "Русские люди" артистам удалось донести до зрителей остроту и боль пережитого нашим народом в суровую осень начала войны, раскрыть величие защитников Родины, моральную опустошенность предателей, звериное нутро фашистских садистов. Мастерски были созданы образы мужественного капитана Сафонова (арт. В. Марченко), предателей Харитонова (арт. Е. Михайлов), Козловского (арт. В. Андреев), сатирический образ Розенберга (арт. А. Гульковский).

С волнением воспринимали этот спектакль и молодежь, и те, кто прошел через суровые испытания войны.

Глубоко взволновал зрителей и поставленный вторично через четверть века после Победы спектакль "Нашествие" по пьесе Л. Леонова (режиссер С. Васильев).

В этом социально-остром спектакле были созданы артистами сложные психологические характеристики мятущегося, но, в конце концов, пришедшего в стан народных мстителей Федора Таланова (арт. Ю. Романов), его матери (засл. арт. РФ О. Высоцкая), борющейся за честь сына, семьи и Родины и не склонившей своей головы, скромного, остающегося верным народу и перед лицом смерти, врача Ивана Тихоновича Таланова (засл. арт. РФ Ф. Суприн). Запомнились зрителям и образы наглых безжалостных головорезов, превративших город в огромный концлагерь (их роли исполнили А. Гульковский, Г. Скачков, В. Тимофеев). Вызвал особую неприязнь зрителей и созданный артистом Федором Ломакиным образ омерзительного Фаюнина, претендующего на власть и пресмыкающегося перед эсэсовцами.

В 1971 году режиссером С. Васильевым была перенесена на нашу сцену тончайшая режиссерская разработка Ю. Любимова спектакля "А зори здесь тихие" по повести Б. Васильева. Весь спектакль держался на щемящей, будоражащей душу ноте жалости и сочувствия старшины Васкова, прекрасно сыгранного Иваном Агафоновым,

к молоденьким девушкам, которых война заставила стать солдатами. Замечательные образы девушек-зенитчиц, преградивших путь отряду фашистов, были созданы актрисами К. Гавриленко, Г. Збруевой, Т. Тереховой, Л. Васильевой, Н. Гайдар.

На Всесоюзном фестивале спектаклей на военно-патриотическую тему в честь 30-летия Победы, в котором приняли участие все театры страны, был отмечен дипломом спектакль "Полк идет" по роману М. Шолохова "Они сражались за Родину", поставленный украинским режиссером В. Бортко на амурской сцене.

Лучшей актерской работой оказался образ Петра Лопахина, созданный артистом Агафоновым. Беспредельно храбрый и веселый балагур, он вселяет в смертельно усталых товарищей бодрость и веру в Победу. Прекрасный образ матери воюющих сыновей создала и засл. арт. РФ Т. Кривенко. Спектакль был настолько эмоционален и так тепло принят зрителями, что в прессе не было отмечено ни одной погрешности.

В 1976 году в спектакле "Комендантский час", посвященном судьбе Чили, вновь во весь голос зазвучала антифашистская тема. Фашизм — это не только историческое прошлое, но и сегодняшняя опасность. В лучших антифашистских книгах послевоенных лет во весь рост встает проблема вины, личной ответственности тех, кто так или иначе был причастен к нацизму. Писатели мира отвечают на наболевший вопрос: "Как могло случиться, что миллионы трудящихся в странах, переживших фашистскую диктатуру, покорились, поддались хитроумной демагогии, стали активными или пассивными соучастниками неслыханных преступлений".

Эта проблема звучит и в пьесах замечательного немецкого драматурга XX века Бертольта Брехта, к которому наш театр обратился в 1975 году. Спектакль "Горько" режиссера Ю. Веригина включал в себя две близкие в идейном и тематическом отношении одноактные пьесы (Б. Брехта и М. Зощенко), разоблачающие мещанство с его феноменом "массовой утраты совести".

Через многие произведения Брехта проходит мысль о закономерности превращения обывателей-мещан в преступников. Однако в рассматриваемой постановке актеры, воссоздавая в первом акте мерзостный мир немецких мещан-обывателей, ставших вскоре опорой германского фашизма (не случайно введены в спектакль военные марши, жесты с выкриком "Хайль!", пунктир колючей проволоки концлагерей), все же не смогли до конца отстраниться от своих персонажей и осудить их высоким судом брехтовского эпического театра, ибо во втором акте, ведущем нас в мир отечественных мещан нэпмановского времени (по рассказу М. Зощенко), эмоциональный настрой зрителей переводился в мир бездумной эксцент-

рики и пошловатого фарсового действия. И хотя внимательный зритель понимал, что от чавкающих ртов до “чавкающих” по дорогам войны сапог, шагающих по “младенцам, мадоннам, законам, стихам” — один только шаг, спектакль не приобрел целостного и острого звучания политической сатиры. Подобные спектакли должны не развлекать, а заставлять задуматься над тем, какая опасность грозит человечеству от бездуховности.

Театр должен воспитывать и предостерегать, особенно молодежь, которой продолжать и в наши дни бороться с фашизмом. Знаменательно в этом смысле обращение французского писателя Пьера Сегерса, открывшего одну из своих книг о Сопротивлении словами: “Мои юные друзья, прочтите эту книгу и задумайтесь. Огонь еще тлеет под пеплом и может снова вспыхнуть, опалив пламенем уже вас”.

Таковыми спектаклями-предостережениями явились поставленные в 1974 году режиссером Г. Литваком “Забыть Герострата” и в 1982 режиссером Л. Козловским “Перед заходом солнца”.

Явственно слышатся отзвуки надвигающегося социального бедствия, наступления темных сил на интеллигенцию, на все лучшее, чем была богата немецкая культура, в пьесе “Перед заходом солнца” крупнейшего драматурга XX века Г. Гауптмана. Движущей пружиной одноименного спектакля стало, как и в пьесе, столкновение светлого гуманистического начала с античеловеческим бездушно-корыстным миром. Резко противопоставлены образы героя-гуманиста Маттиаса Клаузена (многогранный характер которого прекрасно был воссоздан народным артистом России Л. Спасским), его возлюбленной Инкен Петерс (арт. Л. Сижук), ханжескому окружению немецкой обывательской семьи с ее приспособленчеством и высокопарной пошлостью, семьи, из которой особенно выделяется зять Маттиаса, фашиствующий молодчик Клямрот (арт. Ю. Семенов). Уверенный в собственной вседозволенности, Клямрот приближает “заход солнца” — гибель героя, гибель гуманизма.

Нельзя здесь не вспомнить и о спектакле “Забыть Герострата” (реж. Г. Литвак), освещающем животрепещущие проблемы современности на материале далекой античности. ...Сто двадцать лет строили в древнегреческом городе Эфесе храм богини Артемиды. Лучшие зодчие возводили это мраморное чудо. Храм мог простоять тысячелетия. Но в роковую ночь 356 года до нашей эры базарный торговец Герострат, желая увековечить свое имя, поджег и уничтожил святыню. Спектакль Амурского театра об этом, и не только об этом. Ибо пожары и войны то вспыхивают, то гаснут на протяжении более чем двухтысячелетней истории человечества, отделяющей нас от той далекой ночи. Имя Герострата решено было предать

забвению, но этого не случилось. Ибо как забыть злодеяние? Как забыть Нерона, сжегшего Рим? Костры инквизиции, на которых погибли Джордано Бруно и сотни ему подобных светлых умов человечества? Зловещие постулаты идеологов фашизма? Газовые камеры и другие изощренные средства уничтожения людей?

Нас, людей, переживших трагедию второй мировой войны, ядерные взрывы в Хиросиме, кровавые преступления во Вьетнаме, Чили, на Ближнем Востоке и других горячих точках Земли, не мог не взволновать этот насыщенный грозным современным материалом спектакль из далекой античности.

Невольно на память приходили исторические параллели, тени гинденбургов, круппов, стиннесов, развязавших руки фашизму, когда мы напряженно следили за поведением правителя Эфеса Тисаферна, образ которого убедительно раскрывал засл. арт. РФ Ф. Суприн. Самодовольный и жалкий, он живет только для себя и во всем действует во имя своего покоя и славы, жертвует всем, не останавливаясь перед убийством, готовый простить Герострата и поставить его во главе шайки разбойников, дабы держать народ в страхе и покорности.

Свой приговор театр вынес и молчаливым соучастникам преступлений, готовым во имя собственного благосостояния предать и продать кого угодно (образы ростовщика Крисиппа — арт. А. Гульковский и тюремщика — арт. Заборский). Сколько их, равнодушных, стоящих в стороне от борьбы и только греющих руки у чужих пепелищ, рассыпано по страницам истории.

Фигура самого Герострата в исполнении актера В. Мартынова буквально подавляла крайним цинизмом и жестокостью. Закономерна та аналогия, которую актер проводит между своим “героем” и Гитлером в последних сценах второго акта.

От позиции холодной объективности главный судья Эфеса приходит в конце концов к осознанию того, что нельзя стоять в стороне от своих современников. Каждый человек несет ответственность за то, что происходит в мире, должен драться за будущее на стороне сил прогресса, иначе мир погибнет — таков мудрый идейный потенциал спектакля. И в монологах ведущего (арт. Ф. Ломакин) слышится страстное осуждение не только античного варвара, но и всех “геростратов” мира.

И в последние десятилетия театр продолжает обличать мировое мещанство — опору фашистских режимов. Вернул нас к этим проблемам большой и масштабный спектакль “Берег”, поставленный в 1980 году, — впервые на Дальнем Востоке, — режиссером С. Васильевым по одноименному роману Ю. Бондарева. В противовес героям-антифашистам писателю Никитину (арт. Г. Богуславский),

который пронес через годы и расстояния в чистоте свои идеалы, безвременно погибшему, кристально чистому лейтенанту Княжко (арт. А. Колотнюк), Эмме Герберт (арт. Л. Сижук), воплотившей лучшие черты немецкой женщины, — возникают на сцене зловещие тени “коричневых” — ефрейтора-эсэсовца, оборвавшего автоматной очередью жизнь русского парламентаря; Фридриха Дицмана (арт. А. Исаев), уничтожившего наш танк и ставшего после войны литературным критиком, яростно пропагандирующего расистскую идеологию; Карла Вестера (арт. А. Гульковский), оказавшегося в одной упряжке с Дицманом. Трусливые обыватели, они пытаются убежать от самых жгучих проблем времени. Храпят в своих постелях в то время, как над миром вновь сгущаются тучи фашизма, и начинает возникать призрак диктатуры страха, заставляющий обывателей приспосабливаться к любым политическим ветрам...

И сегодня, в год пятидесятилетия Великой Победы над фашистской Германией, мы остро осознаем: человечество не может и не имеет права забыть трагедию, в огне которой родился современный мир. Литература и искусство должны и сегодня принимать участие в продолжающейся и в наши дни борьбе с фашизмом.

Пусть и наш Амурский театр и далее не выпускает из рук свой меч!



КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...

Первые лучи солнца, пробившись сквозь листву березок на опушке, удивленно замерли. Острое лезвие, слегка поиграв в луче, срезало первый ряд. Они падали безропотно, не в силах что-нибудь предпринять. Теперь они все были на равных — и чертополох, и ромашка. Сенокос.

Он радовался. Такой крупной рыбы ему еще не приходилось ловить.

“Так вляпаться на старости лет!” — подумала рыба.

“Как можно жертвовать собственной жизнью ради того, чтобы кого-то укусить!” — раздраженно подумал человек, хлопнув очередного комара.

“Успел!” — обрадовался комар, вонзив свое жало — и чувствуя, как под мощным ударом его тело плющится в лепешку.

— Приготовиться! Пли!..

Работа у него была такая — расстреливать.

“Интересно, о чем они думают в последние секунды?” — иногда

приходило ему в голову, но он не придавал этому большого значения. Других забот хватало. И цены поднимались, и детей нужно было кормить.

Сменилась власть, и он стал у стены перед направленными на него стволами.

— Приготовиться! Пли!..

Поросенок почавкал в корыте, затем пробежался по двору — и снова уткнулся в корыто, весело помахивая хвостиком.

“Завтра я приготовлю из тебя отличное жаркое”, — так же весело подумал хозяин.

В тот день им обоим было весело.

Червяк пробивался сквозь толщу почвы наружу. Уж больно ему хотелось увидеть, что делается там, на поверхности.

“Ух, какой ты у меня расторопный!” — умиленно прокудахтала курица, наблюдая, как цыпленок резво хватает показавшегося на поверхности червя.

ДИВАН

Мне кажется, у него был ревматизм или полиартрит — в общем, что-то не в порядке было с суставами. И это не удивительно. Его родственница кровать имела перед ним огромное преимущество. Она могла отдыхать целый день. Вы можете себе представить — отдыхать целый день, с утра до вечера! Вон она, красавица, стоит себе спокойно в спальне, аккуратно заправленная. А тут день-деньской от прыжков детей все суставы разламываются и трещат. А вечером все семейство взгромоздится на него и смотрит телевизор, чтоб он сгорел. Ну разве это жизнь? Каторга!

Иногда ему, хоть изредка, но везло. Это когда хозяйева уезжали в отпуск. Первое время он был вне себя от счастья, отсыпаясь за все те беспокойные дни и ночи, что выпадали на его долю. А потом начинал скучать, и не такими уж болезненными вспоминались ему прыжки детей, и не раздражала собака, любившая, бывало, запрыгнуть на него, и не вызывала отвращения мысль о гостях, которые обычно долго не засыпали, ворочаясь с боку на бок.

Но отпуск кончался — и старый диван снова начинал ворчать.

Как-то однажды его подремонтировали, перетянули пружины, нарядили в новый наряд, и он, помолодевший, довольный, покрытый новым пледом, снисходительно поглядывал на стоящие рядом два старых кресла.

Но вот хозяева получили новую квартиру и продали его.

Как он сопротивлялся! Упорно не хотел складываться, скрипел, прося пожалеть его и взять с собой. Ведь он, слушая, как хозяева мечтают о новой квартире, тоже собирался переехать вместе с ними. И вот теперь он стал им не нужен. Разве это справедливо?

А когда его сложили и стали выносить из дома, он рванулся так резко, что передняя планка отвалилась и с шумом упала на пол.

Но на это никто не обратил внимания.

РУЧЕЕК

Чистый, звонкий, весело перепрыгивая через камушки, мчался ручей. То ударится об один бережок, то о другой, то весело поиграет со сверкающими серебряной чешуей хариузьятами, то закрутит травинку, которую бросит в него ветерок. Он радовался жизни. Молодой, прозрачный — но и озабоченный. Нужно было напоить животных, которые приходили к нему, заглянуть с любопытством во флягу путника или, ударившись о большой камень, высоко подпрыгнуть и успеть разглядеть: а что там, впереди?

А впереди целая жизнь! Где-то там, вдали, ждет не дождется его река. Ему не терпелось добежать до нее, познакомиться со своими братьями-ручейками, рассказать им о том, что встретилось ему на пути...

И вот за поворотом показалась река.

Ручеек обрадованно прыгнул в нее — и отшатнулся. Ему сразу же захотелось назад. Он задыхался в этой мутной, отравленной воде...

Через некоторое время он почувствовал, что стал такой же, как и остальные потоки вокруг: больной, равнодушный, молчаливый. И плевать ему стало на то, что будет дальше. В его помутневших струях медленно угасала жизнь...



ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ АМУРСКИМ ПИСАТЕЛЯМ

*Союз писательский! Друзья!
Не изумляться тут нельзя:
В век выживанья и наживы
Живет союз — и музы живы!*

СТАНИСЛАВУ ФЕДОТОВУ

Ну что сказать тебе, Федотов?
Ты драматург, отец, поэт.
Хоть много в жизни поворотов,
Тебе везде — “зеленый свет”.

БОРИСУ МАШУКУ

Есть среди нас Борис Машук,
Я бы сравнил его с Парисом,
Но сразу мне заметил друг:
“Не путай ни с каким Борисом”.

ВЛАДИМИРУ ИЛЮШИНУ

А у Илюшина Володи
В родне конструктор, говорят.
О человеке и природе
Напишет, и они парят.

ГРИГОРИЮ ШУМЕЙКО

Когда под перебор гитары
Вновь зазвучат твои стихи,

То каждый, малый или старый,
Припомнит все свои грехи.

НИКОЛАЮ ФОТЬЕВУ

Ты пишешь прозу с грустью, болью,
Но басня — это твой конек.
С твоей единственной любовью
Ты, Фотьев, вряд ли одинок.

ОЛЕГУ МАСЛОВУ

Он врач, советами его
Пренебрегу я, братцы, разве?
Лекарство верное его —
Пилюли от стихобоязни.

ИГОРЮ ИГНАТЕНКО

Когда-то был я чемпион,
Рукоплескал мне стадион.
Теперь в редакции сижу,
“По кругу” в комнате хожу
И с грустью в прошлое гляжу.

АНДРЕЮ ТЕРЕНТЬЕВУ

Андрей Терентьев — это Зея,
Фашистов бил он, строил ГЭС,
Пером, как мастерком, владея,
Обрел он в прозе нужный вес.

ЛЕОНИДУ СИМАЧЕВУ

Слово “Сковородино” —
Он, она или оно?
Все значенья ни при чем,
Просто есть в нем Симачев.

СВЕТЛАНЕ БОРЗУНОВОЙ

— Почем нынче “Яблоки райского сада”?
— Да все дорожают. А много ль вам надо?

— Хотя бы одно для ребенка больного.
— Берите хоть все. Я дарю. Борзунова.

ВИКТОРУ РЫЛЬСКОМУ

Всех читателей приветил
Первой книжкой прозы ты.
Что же в будущем им светит
Вслед за “Светом доброты”?

ВЛАДИСЛАВУ ЛЕЦИКУ

Ты в тайге смешлив, здоров,
Ну, а дома — грусть во взгляде.
“Парой лапчатых унтов”
Не отделаешься, Владик.

ГЕННАДИЮ ХОРОШАВЦЕВУ

Запаса воин, журналист, юрист,
Богоискатель, демократ при этом,
Ты лишь тогда становишься поэтом,
Когда Зеленый Змий издаст свой свист.

ИГОРЮ ФАЙНФЕЛЬДУ

Как часто в жизни рвется мысли нить,
Порой так грубо в душу чувства лезем мы.
Как удалось тебе соединить
Язык науки, веры и поэзии?

ГАЛИНЕ БЕЛЯНИЧЕВОЙ

Пишешь ты прозу добротной и ровно,
Так и работай, Галина Петровна,
Будь не подвластна ни модам, ни датам,
Стала не даром ты лауреатом.

АЛЕКСАНДРУ МАЛИКОВУ

Представьте, будет Маликов каким,
Когда его учитель — ранний Ким.

АНАТОЛИЮ КАЙДЕ

Прозаик, практик, эрудит,
Идет своей тропой узкой,
К тому ж еще руководит
Всею журналистикой амурской.

АЛЕКСАНДРУ КАЛИНИНУ

Войну афганскую воспеть —
Поставил ты себе задачу.
Роман бы написать успеть,
К тому ж издать его впридачу.

ВИКТОРУ ЯГАНОВУ

Ну перед кем же мне виниться,
Какие тут мои грехи?
Мне казаком дано родиться,
А я ударился в стихи.

ТАМАРЕ ШУЛЬГА

Идет ли дождь, метет пурга,
На БАМе все же есть Шульга.

НИНЕ ДЬЯКОВОЙ

На лире ты нежней играй,
И двери отворятся в рай.

ВИКТОРУ АЛЮШИНУ

Китай — сосед, Китай нам нужен,
Союз с Китаем нерушим.
Привет тебе, поэт Алюшин,
Но говорят, ты А Люшин.

А что касается Китая,
Я от себя скажу одно:

Поэзия у них такая,
Что сразу не увидишь дно.

ЛИ ЯНЛЕНУ,
*китайскому поэту,
возможно, будущему члену
Амурской писательской организации*

Ни хао, Ли Янлен, приветствую тебя
Здесь на Амуре, на краю России.
Соседство — наша общая судьба.
Мы узы дружбы сохраним святые.
Я верю, что настанет светлый день,
Когда минуют трудности, лишения.
Еще нас ждут с тобою, Ли Янлен,
И книги новые и добрые свершенья.

*Как встреча мне волнует кровь,
Как рад я дружеским объятьям!
Писатели, свою любовь
Подарим ближним и собратьям!
Вам откровенно говорю:
На бизнес не имею видов.
Люблю вас и благодарю.
Живите дружно.*

Стас Демидов.



ПАРОДИИ

Наш земляк композитор Николай Лошманов в представлении вроде бы не нуждается: его песни поют не только в Приамурье, но и далеко за пределами области. Но не все, возможно, знают, что у него есть давнее хобби. Видимо, страдая от недостатка врагов и недоброжелателей, он пародирует своих друзей-поэтов. Со свойственными ему доброжелательностью и улыбкой. И вот что у него получается.

Возвращусь в пыльце и солнце,
Босиком и без платка.
Мама встретит, улыбнется
И нальет мне молока...

Н. ДЬЯКОВА

От работы бледнею, худею,
От домашних забот маета.
Лишь поэзия душу согреет,
Да не пишется вот ни черта!

Надо к маме в деревню скорее,
По душе мне крестьянский уют.
Там на сельских харчах раздobreю,
И рекою стихи потекут.

Снова молодо сердце забьется,
Зазвенит вдохновеньем строка.
Строгий критик прочтет, улыбнется
И нальет мне стакан... молока.

И. ЧИКУНУ

Семья поэтов ревностью расколота,
От зависти готовы умереть:
У Пушкина что ни строка — то золото,
У Маяковского стихи звучны, как медь.
И лира у Ивана Чикуну
Из чистого отлита... чугуна.

Запозд

алого счастья пение

Запозд

ало твое рождение.

В. ПОЧТАРЬ

ПОЭТУ-ЗАЙКЕ

Запозд

ало твое рождение.

Напис

ал ты стихотворение.

Злой ред

актор, прочтя, бранился: —

Лучше б ты, стер

вец, не родился!

Посылает привет

Мне Гюго из Парижа.

Скажешь: этого нет.

Как же это я вижу?

Скажешь: время прошло.

Как же Пушкин со мною

Поделится светло

Своей мыслью земною?

Игорь ФАЙНФЕЛЬД

Посылает привет

Мне Гюго из Парижа:

— Ах, мон шер, Вы — поэт!
Вашу славу предвижу.
Писем полный портфель
Получил я от Гете:
— Либер фройнд, Файнфельд,
Далеко Вы пойдете.
Пушкин ранней весной,
Отдыхая в Опочке,
Поделился со мной
Гениальной строчкой.
Стал от жизни такой,
Словно чуткий сейсмограф...
Мне прислал Лев Толстой
Свой бесценный автограф.
В интервью заявил
Евтушенко Евгений:
— Я тебя полюбил,
Игореха, ты — гений!
Лишь читатель сказал,
Что-то очень невнятно
И куда-то послал...
А куда, непонятно.

Вот как стану лауреатом
Всесоюзной выставки,
Буду делать что хочу,
Хлев дадут с альковым...
Хрюкну в рифму — получу
Полтора целковых.

С. ФЕДОТОВ

ДОХРЮКАЛСЯ

Жил поэт в хлеву с альковым,
Хрюкал в рифму и мычал.
И всего один целковый
Он за это получал.
Вроде парень он толковый,
Только вот не без греха:

Он себе сарайчик новый
Строит на ВДНХ.
Говорит:
— В сарае этом
Буду громко выть и ржать
И назло друзьям-поэтам
Сто целковых получать.
От своей квартиры новой
Подарю ему ключи,
Дам последний свой целковый:
— На! Не хрюкай, замолчи!

Все могу осмыслить в нашем прошлом
Но одно осилить нету сил.
Как могли когда-то без картошки
Обходиться люди на Руси.

О. МАСЛОВ

ПАРНАССКОЕ ПЮРЕ

На душе скребли ночами кошки,
С недосыпу Маслов занемог.
Утром запах жареной картошки
Вдруг донес из кухни ветерок.
Видно, сердце у супруги ныло:
— Снова ночью валерьянку пил?
Темы нет, душа давно остыла,
Видно, кризис жанра наступил.
Постучал в пустой тарелке ложкой:
— Нет уж в сердце прежнего огня!
Вдруг воскликнул:
— Братцы, о картошке
Не писали раньше до меня!
Быстро покопался в славном прошлом,
Пушкина, Державина спросил:
— Что же, вы, коллеги, о картошке
Оду не создали для Руси?
Лев Толстой пахал частенько сошкой,
Сеял рожь, пшеницу и овес,

Обо всем писал он понемножку,
А вот до картошки не дорос!
Даже у Сережки-ветрогона
Нет о картошке ни шиша,
Что она продукт для самогона,
Да и как закуска — хороша!
Оседлал Пегаса в путь-дорожку,
На Парнас потрясся не спеша
И такое выдал о картошке,
Что запела русская душа!

Написал стихи не понарошке,
Да и тему выбрал — “Ай-люли”...
Слушай, Маслов, брось ты о картошке,
. Напиши нам лучше о любви!

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	3
ПРОЗА, ПОЭЗИЯ	
Евгений Замятин. САХАЛИН. Поэма.	5
Галина Беляничева. ПОСЕЛОК АЭРОПОРТ. Книга рассказов	20
Григорий Шумейко. СТИХИ.	121
Н. Недельский. ЭСТАФЕТА ДОБРА. О творчестве О. Маслова	125
Олег Маслов. СТИХИ.	132
ИСКУССТВО	
Репродукции работ амурских художников.	137
ДЕБЮТ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЗАЛЕ (стихи Н. Старновской, А. Черновой, Ю. Магницкого, И. Молянова, А. Куртина, Н. Гаськовой).	145
Леонид Симачев. ЛЮБОВЬ ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Рассказ.	150
Виктор Алюшин. СТИХИ.	155
Александр Бобошко. СТИХИ.	159
Алексей Воронков. ВАНЮШИН КРЕСТ. Рассказ.	163
Леонид Завальнюк. СТИХИ.	179
Виктор Волчков. ЧАРОИТ С ПИКА БАМ. Очерк.	187
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО	
Валентина Кобзарь. "ДЯТЕЛ, БЕСПАРТИЙНЫЙ".	206
А. Вайсман. ТЕАТР БЕРЕТ МЕЧ.	210
Александр Калинин. КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ.	219
Станислав Демидов. ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ АМУРСКИМ ПИСАТЕЛЯМ.	222
Николай Лошманов. ПАРОДИИ.	227
На переплете — памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Благовещенске работы амурского скульптора Николая Карнабеды	

ПРИАМУРЬЕ

Литературно-художественный альманах
№ 1 (19), 1995 г.

Изд. № 30. Заказ № 1564. Усл.-печ. л. 13,5. Тираж 1000. Государственное редакционно-издательское малое предприятие "РИО". Отпечатано в типографии государственного производственно-коммерческого издательства "Зея". 675006, г. Благовещенск, ул. Калинина, 10.

НОВА ЦЕНА

7000

к.

Дата

№ кв

